
Последние годы ознаменованы резким ростом интереса к проблеме русской интеллигенции (прилагательное «русский» употребляется здесь и в дальнейшем не в этническом, а в культурном смысле). В 1997 году Научный совет по истории мировой культуры РАН провел конференцию по проблеме интеллигенции. В 1998 году аналогичную конференцию провел Российский государственный гуманитарный университет. В 1999 году грандиозная международная конференция «Политическая культура интеллигенции, ее место и роль в истории отечества» со 130 докладами состоялась в Иванове, где функционирует Межвузовский центр Российской Федерации (тезисы докладов были опубликованы, Иваново, 1999). В том же году в издательстве «Наука» вышел сборник «Русская интеллигенция. История и судьба», включивший 22 статьи видных ученых-гуманитариев. Ссылочный аппарат к ним показывает, насколько интенсивно обсуждается проблема интеллигенции в научной прессе, в том числе в текущей. С 1998-го шесть раз в год выходит «Неприкосновенный запас» – журнал, как поясняет главный его редактор, «о культурном сообществе и для культурного сообщества (традиционно именуемого интеллигенцией)». Описанным событиям предшествовал Всероссийский конгресс интеллигенции, на государственном уровне и с государственным размахом. В 2000 году еще один такой конгресс состоялся в Уфе. Систематически продолжают публиковаться статьи, более или менее прямо касающиеся интеллигенции и ее судеб в советскую эпоху, в упомянутом выше «Неприкосновенном запасе» и в журнале «Родина», учрежденном правительством и администрацией президента РФ.

С русской интеллигенцией, по-видимому, происходит нечто важное и привлекающее внимание современников. Есть основания думать, что это «нечто» есть завершение ее исторического бытия, кото-

рое на фоне дрящегося восприятия ее как ценности переживается обществом достаточно остро. Нижеследующие заметки представляют собой попытку проверить это предположение.

Протоинтеллигенция

В первоначальном своем воплощении социально-психологическая общность, впоследствии получившая наименование интеллигенции, возникает в русской истории в конце XV–начале XVI веков в правление Ивана III (1462–1505) и Василия III (1505–1533).

На протяжении столетий, предшествовавших падению Византии под ударами турок в 1453 году, русские земли тяготели к тому военно-хозяйственному и культурно-идеологическому кругу, который часто обозначается как «Византийское содружество». Общение с ним в первую очередь удовлетворяло присущую любому нормально развивающемуся государству потребность во взаимодействии с широким зарубежным миром и в освоении его достижений. С падением Византии положение изменилось. С востока и севера Россия была окружена бескрайними девственными лесами и не-христианскими народами со специфическим социально-политическим укладом, менее всего способными стать источником обогащения русского общества и русской культуры передовым духовным и производственным или политическим опытом. После создания на бывших византийских территориях мусульманской империи перекрытым оказалось также и южное направление. Оставалось обратить взгляды только на запад, к более динамично развивавшимся и накопившим большой потенциал странам Центральной и Западной Европы. Освоение этого потенциала, однако, не могло быть сведено к заимствованиям отдельных актуально и прагматически важных элементов. Оно способствовало более или менее неизбежному появлению некоторой части общества, готовой с этим потенциалом работать, а значит, учитывать в собственном развитии и его культурный код.

Но обращение к Западной Европе и создание человеческих ресурсов, допускающих освоение ее потенциала, должно было осуществляться на фоне другого столь же властного императива. После 1453 года Россия осталась единственной крупной православной страной – главным оплотом православия в его противостоянии католическому Западу. Православие в этих условиях становилось тождественным национально русскому началу, и во имя утверждения национального самосознания

освоение западного потенциала должно было сосуществовать с разоблачением и отрицанием его. Соответственно и описанная часть общества, этот опыт в себя вбиравшая и призванная перерабатывать его на благо России, не могла не вызывать двойственного отношения и власти, и народа. Она была необходима, и в то же время ей нельзя было утвердиться, ибо ее система ценностей и формы жизни, ее культура, не совпадали с системой ценностей основного населения страны. Общая характеристика узла, здесь завязавшегося, кратко и превосходно намечена В.О.Ключевским в третьем томе его «Курса русской истории» и протоиереем Георгием Флоровским на первых страницах его «Путей русского православия».

Тогда же на рубеже XV и XVI веков формируется определенный, характерный для означенной части общества, человеческий тип. Это еще не интеллигенция, но уже *протоинтеллигенция*. Она характеризуется рядом принципиально важных черт, которые сохраняются и на будущее. Как в протофазе, так и в дальнейшем, в основной своей фазе интеллигент – это *человек, открытый переживанию судеб общества и участию в истории*; он всегда, как говорил Аристотель, – *ἀνὴρ πολιτικός*. Если в предшествующую эпоху господствующее духовное движение было связано с концентрацией духовной энергии на внутреннем переживании Бога, то новая эпоха потребовала прежде всего участия в общественной жизни, готовности и способности **в ней** реализовать свой духовный потенциал.

Несколько примеров для иллюстрации и подтверждения сказанного.

На соборе 1503 года дебатировался вопрос о том, насколько допустимо, чтобы церковь и монастыри владели обширными землями и промыслами. Признанным главой противников монастырских владений (так называемых нестяжателей) был старец Нил Сорский, представлявший мнение живших по отдаленным, большей частью заволжским, скитам монахов-отшельников. Их нестяжательство вытекало из исихастской традиции, шедшей еще от Сергия Радонежского, от первоначального Троице-Сергиева монастыря, им основанного, от того отшельнического движения, которое было впоследствии названо Северной Фиваидой. В рамках этой традиции смысл веры состоял в уединении, в интенсивном внутреннем переживании своей связи с Богом, в сосредоточенном безмолвии и аскетическом обеспечении личных потребностей только собственным трудом. Теперь эти люди, продолжая черпать свои решения касательно церковных имуществ из глубоко духовных источников, протестуя против конфискаций и насилия, на-

стаивая на *добровольном* отказе церкви от своих владений, ощутили настоятельную необходимость принять участие в обсуждении и решении актуальных общественных вопросов. Не менее показательны, как Иван III, декретировав после присоединения Новгорода к Москве в 1478 году преследования местных священников, активно участвовавших в общественной жизни, тем не менее оценил значение людей этого типа в складывавшейся новой общественно-политической и культурно-психологической атмосфере. Он вызвал наиболее выдающихся из преследуемых для работы в Москве, а одного, Федора Курицына, сделал даже своим духовником. Впоследствии Курицын стал автором некоторых важных государственных документов, обосновавших московский великокняжеский абсолютизм.

Вторая черта складывавшегося человеческого типа состояла в *духовной самостоятельности*, воспринимаемой как залог подлинной одухотворенности поведения, жизни и веры, в том числе и при определении задач, путей и форм участия в общественной жизни и вообще в делах мира. Особенность эта обнаруживается у самых разных людей. Иван III поручил расправу над неготовыми подчиниться Москве новгородскими священниками архиепископу Геннадию, и тот рьяно выполнял данное ему поручение. Однако, когда дело дошло до секуляризации, в которой был заинтересован и на которой настаивал великий князь, Геннадий тем не менее выступил против мер, шедших вразрез с его убеждениями, и оказался в тюрьме. Для самого яростного врага секуляризации Иосифа Волоцкого защита церковных имений вытекала из внутреннего понимания христианского долга и была, насколько можно судить, лишена всякого элемента своекорыстия или тактики. Одежда его поражала современников своей бедностью и убожеством; в устав своего монастыря он включил традиционный монашеский обет нестяжания. Необходимость сохранения монастырских имений он, вопреки мнению великого князя, обосновывал тем, что только они позволяют монастырю выполнять свой христианский долг, оказывая помощь окрестному населению – «и нищим, и странным, и мимоходящим давати и кормити». Еще более очевидна та же черта у людей противоположного лагеря – у ближайшего ученика Нила Сорского Вассиана Патрикеева, у Захарии, признанного вождем новгородской ереси «жидовствующих», поколением позже у Максима Грека.

Своеобразным манифестом этого типа веры, мысли и поведения явилось краткое стихотворное «Лаодикейское послание» Федора Ку-

рицына¹. Его смысловая доминанта задана первой строкой: «душа самовластна, заграда ей вера». Самовластная, но огражденная верой от чрезмерной и безответственной субъективности, душа открыта мудрости, которую вносит в нее пророк и которая реализуется в способности к «чюдотворению». В этом смысле сфера напитанной мудростью души противоположна иной, повседневно практической, «фарисейской» сфере: «мудрости – сила, фарисейство – жителство». Но мудрость реализуется не только в «чюдотворении». С нею в человека входит «страх Божий», который есть «начало добродетели» и которым «вооружается душа». Обнаруживая хорошее владение риторическими канонами, Курицын завершает стихотворение тем же ключевым словом, которым оно открывается, – «душа». На своем пути от первого упоминания к последнему она прошла сложный путь, обогатилась новыми смыслами и предстала в итоге как вместилище нравственной ответственности и веры, начало совести и оружие духа.

Еще одна черта, которой отмечено описываемое поколение рубежа XV и XVI веков, состоит в его *образованности*. В предыдущую эпоху доминанта лежала в области интенсивного переживания внутреннего духовного опыта, а не в сфере внешнего книжного знания. Теперь положение меняется; наиболее наглядно – в связи с так называемой Книжной справой, т. е. с работой по пересмотру старых переводов священных книг, которая требовала обращения к источникам, знания языков (прежде всего греческого, латинского и древнееврейского) и широкой эрудиции – филологической и общей. Работа эта была поставлена образованным новгородским священникам в вину – Геннадий усмотрел в ней еретическое искажение традиционных текстов. Но та же работа, только в еще больших масштабах и с привлечением западных специалистов, проводилась и в окружении самого архиепископа, проводилась и позже, при Василии III; несколькими десятилетиями спустя собор 1551 года вообще вменил ее в прямую обязанность духовенству в городах. Новгород не попал под татарские разгромы, в нем сохранились библиотеки, и к XV веку он был одним из самых богатых книгами городов славянского мира. Геннадий, в частности, признавал, что по вопросам, которые подлежали разбору при осуждении ереси, необходимые для этого и у него отсутствующие «книги у еретиков все есть». Особенно выразительным с этой точки зрения было приглашение в Москву для продолжения все той же книжной справы в 1518 году ученого афонского монаха Максима Грека. Специально исследовавший источники сочинений Максима Д.М.Буланин приходил к выводу, что

«...многочисленные цитаты из древних авторов и даже целые рассказы античного происхождения, рассеянные в сочинениях Максима Грека <...> свидетельствуют о блестящей образованности, основы которой были заложены еще в Греции (т. е. на родине. – Г.К.)»².

С повышенной ролью книжной образованности связана и еще одна черта поколения, о котором идет речь, – *открытость западноевропейскому опыту*, культурному и политическому, и его освоение. Прежде всего это касается самого великого князя. Иван III выписывал из Италии архитекторов, дабы они создавали новый центр российского государства, Кремль, и строили в нем соборы, «с их итальянской и русской душой». Он был женат на Софье Палеолог, воспитанной в католической Италии и окруженной привезенными оттуда приближенными. Сын Софьи Палеолог Василий III продолжал настаивать на исправлении переводов священных книг и пригласил для этой цели, в частности, упоминавшегося Максима Грека. То был афонский монах византийского происхождения, прошедший всю молодость в Италии в гуманистических кругах Флоренции, Венеции и Милана и постригшийся в доминиканском монастыре Сан-Марко перед тем, как стать монахом православного монастыря на Афоне. Сам Геннадий, обвинявший новгородский клир в отступлении от православия, настоятельно говорил о необходимости учитывать опыт католической церкви, в частности, опираться в борьбе с еретиками на практику испанской инквизиции. Развернутые сведения об этой практике он скорее всего черпал из общения с прибывшим в Новгород доминиканским монахом Вениамином, который впоследствии и по другим вопросам выступал солидарно с архиепископом. Те же особенности могут быть отмечены в связи с проблемой церковных имений. Иосиф Волоцкий, Геннадий, их многочисленные сторонники выступают против великого князя – западника, за сохранение исконно российских, национальных, традиций в данной области. Но при этом в обоснование своего убеждения в недопустимости посягательств светской власти на имущество церкви они, в частности, ссылаются на так называемый Константинов дар, т. е. на якобы произведенное в IV веке первым христианским императором Рима официальное закрепление за церковью ее имуществ, служившее юридическим основанием папских владений.

Привлечение в Россию инокультурного опыта и «самовластие души» воспринимались национально-консервативной частью общества не как развитие и усложнение духовного мира человека и как обогащение национальной духовности, а как извращение – в большинстве

случаев сознательное и коварное – ее неизменной и вечной, навсегда себе равной и именно в этом смысле благой сущности. Так, книжная образованность вызывает осуждение в таком важном документе времени, как знаменитое послание старца Филофея о Москве – Третьем Риме: «...яз сельской человек, учился буквам, а еллинских борзостей не текох, а риторских астроном не читах, и с мудрыми философами в беседах не бывал, учюся книгам благодатного закона, аще бы мощно моя грешная душа очистити от грех»³. «Самовластие» новгородских священников и их образованность трактуются как результат заговора «жидовствующих», доказательства существования которого могли быть добыты только под пытками. Из священников, приглашенных Иваном III из Новгорода, те, что не умерли, были в конечном счете казнены, а сам Курицын подвергся опале. В опале оказался и пламенный нестяжатель, ближайший ученик Нила Сорского Вассиан Патрикеев. Максим Грек, разочаровавшийся в католицизме и сознательно избравший православие, абсолютно ортодоксально выступавший «против латинян», был тем не менее дважды обвинен в ереси и осужден.

Подавление протоинтеллигентов не было следствием доказанной предосудительности или антипатриотического характера их деятельности. Не вытекало оно, насколько можно понять, и из продуманных и взвешенных политических соображений. В основе такого подавления лежала инстинктивная ненависть к «самовластным» и образованным, к общественной активности, готовой учитывать западный опыт и исходить из личных моральных побуждений, лежало убеждение в том, что такой тип человека представляет собой угрозу национальной чистоте и потому спор с этими людьми вообще не нужен: их позиция подлежит не обсуждению, а искоренению. Инструктируя епископов перед соборным разбирательством, архиепископ Геннадий в 1490 году писал о разоблачаемых им новгородцах: «Да еще люди у нас простые, не умеют по обычным книгам говорити: таки бы о вере никаких речей с ними (т. е. с еретиками. – Г.К.) не плодили; токмо того для учинити собор, что их казнити – жечи да вешати»⁴. Обвинение Максима Грека в злоумышленной порче национального книжного канона было выдвинуто и принято без разбора и филологических доказательств, на основании высказанного им мнения, что «иные книги перевотъчики перепортили, не умели их переводить, а иные книги писцы перепортили, ино их надобно переводити»⁵.

Указанные культурно-исторические параметры определили исходные контуры исторической силы и культурно-психологического

типа, которым рано или поздно суждено было стать интеллигенцией. Слой этот был востребован особыми условиями русской действительности, исторически необходим, стать собственно интеллигенцией, однако, в этой первой фазе не смог. Он был слишком малочислен, своей духовной автономией, образованностью и соотнесенностью с западной культурой слишком отличался от подавляющей массы населения и ее духовных традиций, а главное – был слишком замкнут на власть, слишком прямо от нее зависел и потому не мог устоять, когда власть предпочла ему более функциональную и более послушную социальную опору, свободную от излишней духовной (а значит *in spe* и общественной) самостоятельности. Ивану Грозному, вставшему во главе государства после Ивана III и Василия III, садически ненавидевшему всякую самостоятельность, такой слой был явно не нужен, и атмосфера, царившая в высших слоях на рубеже XV и XVI столетий, а вместе с ней и сам этот слой исчезают на целый век – с 1550-х до 1650-х годов. Те самые общие условия российской государственности, однако, которые в первый раз вызвали его к жизни, продолжали сохраняться. Первая оборвавшаяся фаза русской протоинтеллигенции сменилась второй – столь же внутренне необходимой и столь же, как оказалось, преждевременной.

Обнаружившиеся черты протоинтеллигенции повторились и дополнились новыми в середине и в конце XVII столетия. На фоне такого же глубокого и всестороннего кризиса хозяйственной и государственной жизни (тогда, на рубеже XV–XVI веков, – после татар, теперь – после Смуты), такого же обращения к ресурсам Западной Европы (тогда – в виде заимствования политического опыта, теперь – в виде приглашения иностранных специалистов – как инженерно-производственного, так и филологического профиля), такой же ориентации на определенные источники привлекаемого опыта и привлекаемых специалистов (тогда – на Византию и соответственно Грецию или Италию, теперь – на Польшу и правобережную Украину), такого же распространения книжной образованности при дворе (тогда – в результате матримониальных и личных связей великого князя, теперь – в виде приобщения царя и высшего придворного круга к западным формам жизни, занятиям и интересам), такой же двойственной позиции властей с осуждением консерваторов и церкви (тогда – в виде борьбы вокруг церковных имуществ, теперь – в виде ссылки патриарха при одновременном гонении на старообрядцев) и с осуждением лиц, которых можно было заподозрить в недостаточной приверженности к традиционным национальным цен-

ностям (тогда – в виде новгородских преследований, теперь – в виде сожжения сочинений латиниста Симеона Полоцкого и казни его талантливого ученика Сильвестра Медведева), – вот на фоне всего этого и происходят культурно-исторические процессы, в которых, при сохранении былых черт интеллигенции *avant la lettre*, формируются и некоторые новые.

К числу последних относилось, во-первых, смещение духовного потенциала из сферы, так сказать, политического богословия (или богословской политики) в сферу собственно культуры и прежде всего античного наследия. В 1649 году в Москву приглашается эллинист Епифаний Славинецкий. Приглашали его для «справки Библии греческой на славянскую речь», но главным в его деятельности стали распространение сочинений классиков древнегреческой философии и литературы (не без акцента на неоплатонических пра-основах христианства) и подготовка специалистов, которые могли бы эту работу продолжить. Антагонистом Епифания и партии эллинофилов явился Симеон Полоцкий, приглашенный в Москву в 1660-е годы и возглавивший латинскую партию. Их противостояние непосредственно касалось богословских вопросов и партийно-идеологических контrovers при дворе, но в сфере культуры как таковой объективно они делали одно и то же дело: создавали духовную среду с новыми обычностями и нравами – установлением связи с западным каноном культуры через усиленное освоение и пропаганду классического античного наследия, вкусом к ученым занятиям, интересом к светской книге и уважением к ней, своеобразными публичными состязаниями в учености и риторике. Влияние этой среды, особенно «латинистов», на общество было, по всему судя, достаточно широко.

Другой важной и совершенно новой чертой формировавшегося образованного слоя была его демократизация. К концу века все чаще появляются сведения о школах при монастырях и церквях, открытых детям «из простых»; тот же статус был у школы более высокого уровня, существовавшей при Андреевском монастыре; просвещенный киевский митрополит Петр Могила предлагал еще царю Михаилу Федоровичу учредить в Москве монастырь, в котором можно было бы обучать «детей боярских и из иного чину грамоте греческой и славянской». Попытки основать такого рода учебное заведение предпринимались в 1632-м, 1649-м, 1665-м вплоть до создания в 1687 году Эллино-греческой, с 1701 года – Славяно-греко-латинской Академии, где велено было преподавать «все свободные науки на греческом и

латинском языках», постоянно учиться же там – «синклитским и боярским детям <...>, которых собрано бе больше сорока человек, кроме простых».

Оба процесса – демократизация и распространение образованности – своеобразно преломились в такой черте менталитета времени, как духовная независимость, ставшая теперь выглядеть совсем по-другому, нежели бывшее «самовластие души». В народных массах – крестьянских, деклассированных, низового клира – универсальность и безысходность общественного кризиса XVII века породили стремление к спасению души путем отказа от церковности, от цивилизации, вообще от традиционных и обыденных, нормальных, правил поведения. Так возникли ереси самосожженцев, капитонов, появляется движение «христов», которые старались воспроизвести в своей жизни образ существования Христа. Последнее особенно показательно. В рамках традиционного православия уподобление себя Христу или даже сближение себя с ним – вещь совершенно неслыханная и глубоко кощунственная. Теперь протопоп Аввакум творит чудеса и обращается к Богу со словами: «На судищи десные Ти страны причастник буду со всеми избранными твоими»⁶; некий дьякон Федор рассказывает о ниспадании с него оков и отвержении узилища, т. е. о повторении чуда с апостолом Петром; переживание апостольских чудес встречается в жизнеописании боярыни Морозовой; старообрядцы, сосланные в Пустозерск, пишут собственные жития. Ощущение в себе божественной искры, крайнее обострение чувства нравственной ответственности за мир и общество, реализация в нем своего личного духовного потенциала становятся знаменем времени на народно-демократическом уровне.

Духовная традиция, завязавшаяся в эпоху Курицына, Вассиана и Максима, продолжает жить. Ее исходные начала обнаруживаются на более поздних рубежах, ее новые черты входят в тот же комплекс – обретение себя в общественном служении; выбор пути если не на основе личной духовной ответственности, то во всяком случае при постоянном и остром ее переживании; восприятие знания и рефлексии по его поводу в качестве ценности; рассмотрение западноевропейского опыта в качестве одного из постоянных источников, подлежащих учету в ходе сложения новой российской культуры и государственности.

И снова обрыв. Как известно, «царь Петр любил порядок почти как царь Иван», и, как царь Иван, он сам и его преемники предпочли устраивать этот порядок и развивать страну и общество скорее с помо-

шью исполнительных слуг, чем опираясь на не в меру «самовластно» думающих клириков и филологов. Разумеется, это уже не начало XVI века и не середина XVII. Разумеется, Пушкин прав⁷: почти как царь Иван полагаясь на свое могущество и «презирая человечество», Петр, в отличие от Ивана, позволил себе насаждать просвещение, а оно повлекло за собой «неминуемое следствие» – свободомыслие, значит, и свободомыслящих. Указ о вольности дворянству умножил не только их число, но и их разнообразие: Лопухин – не Радищев, Фонвизин – не Новиков, хотя все они на новый лад духовно «самовластны». «Постепенно вырабатывается тот гуманный, внутренне свободный, интеллигентный слой, которому предстоит играть выдающуюся роль в истории и культуре следующего столетия»⁸. Но столь же прав Пушкин и в дальнейшем ходе своей мысли: около Петра «история представляет всеобщее рабство». Интеллигенция в собственном смысле слова могла возникнуть только там, где «рабство», сохраняясь, перестает быть «всеобщим».

Снова наступает перерыв еще на сто–сто пятьдесят лет, но факторы, требовавшие столь долго вызревавшего слоя, продолжали неумолимо действовать. По-прежнему в стране не было настоящего, развитого и самостоятельного Третьего сословия, так что власть и нация нуждались в особом культурном и интеллектуальном резерве. По-прежнему именно потому, что он был культурным и интеллектуально развитым, резерву этому не доверяли ни широкие слои населения, ни власть, хотя он только и делал, что обслуживал и одни, и другую, и в этом смысле был необходим всем. По-прежнему западноевропейский опыт был постоянно востребован и востребован был слой, способный им овладеть и обогащать им жизнь страны, и по-прежнему и этот опыт, и этот слой противоречили исконным традициям национальной жизни и национального менталитета и потому вызывали недоверие. Но время шло, условия менялись, потребность в таком слое становилась все более острой, и к середине XIX столетия перерыв кончился. Процесс дошел до своего завершения – *протоинтеллигенция* стала *интеллигенцией*.

Какими новыми чертами и каким переосмыслением старых было ознаменовано появление на арене истории так долго и мучительно вызревавшей и наконец-то выступившей общественной силы?

На протяжении обоих прослеженных этапов формирования протоинтеллигенции ее участие в общественной жизни и тем самым содействие развитию и духовному обогащению страны могло реализоваться только через служение власти и государству. Народа как одного из слагаемых

национальной жизни, осознанного как самостоятельная субстанция, еще не было. В середине XIX века такое слагаемое появилось; под влиянием растущего осознания роли народно-национального начала в жизни общества это «слагаемое» было осмыслено как ценность, а служение ему – как этический императив. Протоинтеллигенция воплотилась в интеллигенцию там, где служение народу как величине от власти и государства отличной стало сознательной целью.

От протоинтеллигенции не ожидалось участия в развитии производительных сил страны. Ее образованность и начитанность реализовались в чисто умозрительной сфере, в борьбе вокруг вопросов богословских, филологических или философских. За познания именно в этих областях ее приглашали ко двору, ценили в монастырях, именно этим она обеспечивала себе материальное существование. Интеллигенция появляется там, где ее познания оказались востребованы общественным производством, и, соответственно, труд, на этих познаниях основанный, становится для нее источником существования – если не всегда фактически, то почти всегда морально. Собственно интеллигенция – это трудовая интеллигенция.

Наконец, культурные традиции и духовный опыт Западной Европы при Иване III или при царе Алексее Михайловиче, соответственно – в кругу, скажем, Федора Курицына или Симеона Полоцкого, оставались чем-то отечественным культурным традициям и духовному опыту внеположными, может быть важными, подлежащими усвоению или во всяком случае учету, сочетавшимися с ними в сознании и поведении, но всегда по отношению к ним чем-то иным, внешним. У собственно интеллигенции они предстанут как две контрастные и взаимодействующие части культуры, лишь в своей совокупности определяющие поведение, общественные и этические ориентации человека.

Почему именно в середине XIX столетия сложились решающие условия для превращения людей, отмеченных указанными чертами, в конститутивную часть общества, и в чем эти условия состояли? В отмене крепостного права и, значит, в индустриализации, в востребованности ею труда и образования, в демократизации общества. В завершении абсолютизма и, значит, в исчезновении монархической привилегии на регулирование духовной жизни и дворянски-аристократической привилегии на книжную образованность. В углублении начатого романтиками и пушкинским поколением осознания народно-национальных начал истории и культуры, приведшего в 1870-е–1880-е годы к обострению противостояния России и Европы, а начиная с 1890-х годов к

новому переосмысленному их синтезу. С середины XIX века появляется и слово «интеллигенция» – первый признак осознания самого явления в качестве самостоятельного факта общественной действительности⁹.

Хартия

Русская интеллигенция в XIX веке знала свой эмбриональный период. Описанные выше процессы и потребности начали воплощаться в жизнь уже с 1830-х–1840-х годов в литературной и просветительской деятельности передового дворянства. Герцен характеризовал ее словами «лишние люди», добавляя при этом, что имеет в виду «настоящих лишних людей, николаевских». Слово «интеллигенция» стало применяться к этой среде *post factum*, уже в шестидесятые годы. Ее общественная роль была хорошо описана в ретроспекции, в 1869 году, И.А.Гончаровым: «Крепостное право, телесное наказание, гнет начальства, ложь пред-рассудков общественной и семейной жизни, грубость, дикость нравов в массе – вот, что стояло на очереди в борьбе и на что были устремлены главные силы русской интеллигенции тридцатых и сороковых годов. Нужно было с критической трибуны, с профессорской кафедры, в кругу любителей науки и литературы, под лад художественной критики взывать к первым, вопиющим принципам человечности, напоминать о правах личности, собственности и т. п.»¹⁰. Превращение зародыша в ребенка пришлось на более поздние годы, «*послениколаевские*». У его колыбели оказались люди и книги, частично еще «*николаевские*», – Аксаковы и Хомяков, Герцен и Грановский, «Записки охотника», поэзия Некрасова; потом, после превращения, эстафету приняли не только дворяне новой формации, но и студенты-разночинцы, становившиеся разночинцами-профессорами, философами, писателями, художниками, народники и демократы.

Положение, смысл и задачи этой собственно интеллигенции, какой она возникла в третьей четверти XIX столетия, с образцовой ясностью представлены в «Дневнике писателя за 1876 год» Ф.М.Достоевского (запись «О любви к народу. Необходимый контракт с народом» и отчасти запись, данную продолжающая, – «Мужик Марей»). Положения, здесь сформулированные, настолько точно представляют суть возникшего сообщества, что вполне заслуживают наименования его хартии. Суть эта состоит в следующем. Есть «мы» – интеллигенция. Облик ее двоятся: она несет на себе первородный грех «разврата и лжи», в кото-

рый «мы» впали «с прививкой цивилизации». Но есть в ней и «лучшая часть» – она заслуживает название лучшей, потому что «преклонилась перед правдой народной, признала идеалы народные подлинно прекрасными». Речь идет именно об идеалах, ибо в непосредственной жизненной реальности «народ наш груб и невежествен, предан мраку и разврату». Долг интеллигенции состоит в том, чтобы исправить это положение, – «способствовать вместе, каждый “микроскопическим” своим действием, чтоб дело обошлось прямее и безошибочнее», а для этого – передать народу «многое из того, что мы принесли с собой». Однако ценность этого «принесенного с собой» – «нашего, что должно остаться при нас», и ценность того, что живет в народе, несоизмеримы. «Мы должны преклониться перед народом и ждать от него всего, и мысли, и образа», ибо «судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно вздыхает». «Непроходимая грязь, в которую погружен народ наш», имеет вне его лежащий источник: это все – «наносное и рабски заимствованное», заимствованное из Западной Европы и из цивилизации, внесенной Петром. То же происхождение имеет и духовная скверна, постоянно гнездящаяся в интеллигенции и от которой она может освободиться, лишь «преклонившись перед правдой народной», «как блудные дети, двести лет не бывшие дома». Весьма существенный элемент этого построения состоит в том, что как «непроходимая грязь», так и «великие и святы вещи» обнаружены в народе и автором, и «лучшими представителями нашей интеллигенции» не в результате досконального и практического знания его, а исключительно на основе нравственных и умозрительных соображений. «Народ для нас всех – всё еще теория и продолжает стоять загадкой. Все мы, любители народа, смотрим на него как на теорию, и, кажется, ровно никто из нас не любит его таким, каким он есть в самом деле, а лишь таким, каким мы его каждый себе представили». Итоговый вывод состоит в том, что в очерченном своем виде «вопрос о народе и о взгляде на него, о понимании его, теперь у нас самый важный вопрос, в котором заключается всё наше будущее, даже, так сказать, самый практический вопрос наш теперь».

Эта хартия русской интеллигенции до конца определила ее «веру и вздыхание», ее практическое поведение, ее траекторию и судьбу. В основе их – три краеугольных положения.

Начнем с **первого**. Становившееся с конца XIX века все более распространенным участие интеллигенции в системе образования и судопроизводства, в техническом производстве, в медицинском обслужива-

нии населения, при постоянной критике существующих в этих областях порядков, ее образованность, открытость общеевропейским ценностям, содействие распространению цивилизованных форм жизни и были бесспорно «“микроскопическими” действиями» на благо народа, независимо от того, в какой мере именно их имел в виду Достоевский. Они, естественно, воспринимались самой интеллигенцией, с одной стороны, как «наше», которое «мы не отдадим ни за что на свете», а с другой – как «много, что должен от нас принять народ». То и другое, интеллигентность и служение, должны были существовать друг через друга и именно в этой своей совокупности обеспечивать интеллигенции «счастье соединения с народом».

Большинство мыслящих людей России и видело духовное назначение интеллигенции в интенсивном умножении своего духовного потенциала для просвещения на его основе страны и народа, для освобождения их от вековой отсталости. В 1904 году создатель термина «интеллигенция» писатель П.Д.Боборыкин, подвел итог тому, чем стало это сословие к началу нового столетия. «Собирательная душа русского общества и народа <...>, избранное меньшинство, которое создало все, что есть самого драгоценного для русской жизни: знание, общественную солидарность, чувство долга перед нуждами и запросами родины, гарантии личности, религиозную терпимость, уважение к труду, к успехам прикладных наук, позволяющим массе поднять свое человеческое достоинство»¹¹.

Ни русская жизнь на протяжении всего конца XIX и начала XX века, ни отражение ее в литературе не позволяют усомниться в существовании объективных оснований для такой оценки. От Менделеева до Сеченова и от Гаршина до М. Булгакова, от профессор-разночинцев, начиная с Цветаева и кончая Павловым, от общественных деятелей, начиная со Стасюлевича или Михайловского и кончая Вернадским, сцену русской жизни заполняют люди нового, ранее неизвестного типа. Перечисленные – только первая шеренга. Ими воспитывались и на них равнялись, кроме просто порядочных людей, тысячи и тысячи хорошо знающих свое дело и честно его делающих столичных, провинциальных, «земских» врачей, лечивших народ даром, художников, которые безвозмездно учили крестьян совершенствовать народные промыслы, учителей и учительниц, уезжавших создавать школы в деревне и работать в них, – все, увековеченные Чеховым в дяде Ване или в сестрах Прозоровых, Эртелем в Степняке Батурине, Булгаковым в Голубкове. Авторы «Вех», сосредоточенные не

столько на достоинствах интеллигенции, сколько на критике ее, не могли тем не менее не признать справедливым многое из сказанного Боборькиным¹², а через полвека, уже в советское время, М.А.Булгаков в критическую минуту жизни утверждал, что сделал своей задачей «упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране»¹³.

Второе краеугольное положение противоречит первому. Сознание протоинтеллигенцией своей духовной ответственности за мир и общество воплощалось некогда в помышлениях о субстанциях вечных и себе равных – о Боге в XV–XVI веках, о культуре в XVII. В XIX их предметом стала субстанция подвижная и стремительно менявшаяся – народ России в его пореформенном состоянии. По мысли и чувству Достоевского «подлинно прекрасные идеалы» были присущи народу как патриархальному крестьянству, в силу его незатронутости «всем наносным», в силу того, что он, в отличие от интеллигенции, «двести лет был дома» и не знал «цивилизации». То есть не знал той силы, которая теперь овладевала им стремительно и ставила рядом с «великими и святыми вещами» «грубость и невежество, мрак и разврат» уже не в качестве легко проницаемой «наносной» завесы, а в качестве платы за неизбежное, в силу его прошлого, сопротивление *развитию*. Поскольку, однако, развитие составляет непреложное свойство бытия и, искусственно сдерживаемое на протяжении предыдущих двух столетий, теперь оно предстало перед русской деревней во всей своей требовательности, неприспособленный к нему заранее общественный организм реагировал на происшедшее болезненно – стремительным распадом былых связей при медленном и неуверенном вызревании новых. В определенной мере идеал Достоевского оставался живым. Даже переместившись из патриархального крестьянина в городского слугу, он предстает полностью сохранившимся, например, в рассказе Толстого «Смерть Ивана Ильича» (1884–1886), предстает в толстовстве как общественном движении в целом и далее вплоть до денщика Григория из «Сивцева Вражка» Михаила Осоргина (1928).

Чем дальше, тем больше, однако, такая реальность осложнялась своей противоположностью. Рядом с только что названным народным типом все более отчетливо обнаруживалась та неуклонно разлагавшаяся масса, как остававшаяся в селе, так и усиленно перемещавшаяся в город, что отмечена была нарастанием перечисленных Достоевским отрицательных свойств. В жизни она во многом определила неудачи кооперативного движения в деревне в 1860-е–1880-е годы, она встает со страниц такого

важного исторического источника, как письма «Из деревни» Энгельгардта (1882), в литературе предстает в «В овраге» Чехова и в «Деревне» Бунина, в «Записках Степняка» Эртеля, в очерковых зарисовках Лейкина и в других столь многочисленных текстах тех лет.

Именно в этой массе, которую бóльшая часть русской интеллигенции по-прежнему воспринимала как народ и которая продолжала оставаться для нее предметом забот и идеализации, да в сущности и не была отделена до конца от народа, подразумеваемого Достоевским, проявлялась, крепла и громко заявляла о себе отчужденность от интеллигенции и ее системы ценностей, отчужденность, переходившая в неприязнь, и неприязнь, переходившая в ненависть. Речь здесь шла уже не о грубости, пьянстве или невежестве, вообще не о морально предосудительных свойствах как таковых – они могли встречаться чаще или реже, колебаться по районам или группам. Речь шла о некотором инстинктивном регуляторе поведения, об утверждении своей духовной и общественной автономии. Положение это впервые было ясно сформулировано в 1909 году в «Вехах». Последующая критика определенного направления, от Ленина до Солженицына, предпочла не видеть, что в этой книге отражен облик не только интеллигенции, но и народа, отражена та коллизия, которая навсегда спаяла их вместе и обрекла на постоянную нераздельность и неслиянность. «Разрушение в народе вековых религиозно-нравственных устоев освобождает в нем темные стихии, которых так много в русской истории, глубоко отравленной злой татарщиной и инстинктами кочевников-завоевателей. В исторической душе русского народа всегда боролись заветы обители преп. Сергия и Запорожской сечи или вольницы, наполнявшей полки самозванцев, Разина и Пугачева. И эти грозные, неорганизованные, стихийные силы в своем разрушительном нигилизме только по-видимому приближаются к революционной интеллигенции, хотя они и принимаются ею за революционизм в собственном ее духе; на самом деле они очень старого происхождения, значительно старше самой интеллигенции»¹⁴. Завершившийся через несколько лет, с февраля по август 1917 года, десятью тысячами *только зарегистрированных* «зверских и бессмысленных народных “самосудов”»¹⁵, в последовавшие годы революции и гражданской войны – поджогами и разграблением усадеб, которые в подавляющем большинстве уже не имели никакого отношения к бывшим владельцам крепостнической эпохи и принадлежали интеллигенции (Шахматово, Талашкино, Полотняный Завод...), этот «разрушительный нигилизм» начал сказываться намного раньше – в выдаче становому или полиции лиц, посе-

лявшихся в деревне ради «счастья соединения с народом», в убийстве врачей, приезжавших работать на эпидемии, в судьбах, вроде тех, что описаны Чеховым в «Мужиках». Эту ненависть, захватывавшую городские низы в еще большей мере, нежели деревню, использовало революционное подполье (в частности, высоко ценил Ленин¹⁶). Блок воспринимал ее как праведное возмездие за сытую и культурную жизнь. Ярко отразили эту ненависть Чехов в «Записках неизвестного человека», Горький в «Мещанах», Бунин в «Окаянных днях» – книге, сочащейся кровью, ненавистью народа к интеллигенции и «всеми мерзостями, которые он так часто делает».

В этом неприятии народом ценностей интеллигенции сливались два потока. Один из них, о проявлениях которого речь шла только что, был порожден разлагающим воздействием цивилизации на неподготовленный к восприятию ее патриархальный организм. Другой вытекал из патриархальности самой по себе, из верности ей, следовательно, из ее онтологической несовместимости с общественным динамизмом, а значит, и с порожденной этим динамизмом интеллигентской аксиологией: с критической рефлексией по отношению к историческому процессу и на ней основанной общественной активностью, с книжным знанием, с открытостью инокультурным системам. На политической поверхности жизни эти два умонастроения и их выразители непримиримо противостояли друг другу как Победоносцев и народолюбцы или Н.Я. Данилевский и крестьяне, пробивавшиеся в сидельцы модных лавок. На более глубоком духовно-историческом уровне, где формировалась интеллигенция и определялись ее дальнейшие судьбы, оба потока сливались воедино. «Победоносцев над Россией простер зловещие крыла», писал Блок, но его инвективы против интеллигенции мало чем уступают тем, что разлиты отчасти в тексте, но в основном в подтексте статей того же Победоносцева – «Новой демократии» или «Церкви и государства». По-прежнему, как во времена Максима Грека или Симеона Полоцкого, интеллигенция была стране необходима, но основной массе населения подозрительна и неприятна. Тогда эту коллизию можно было разрешить в ту или иную сторону на уровне государственной власти, теперь в качестве решающей силы в нее был вовлечен тот противоречивый организм, который продолжал называться народом.

Третьим краеугольным камнем, на котором стояло здание русской интеллигенции, была ее неспособность – и в еще большей мере нежелание – понять, что в словосочетании «трагическая вина» равно весо-

мы оба слова, что понимание исторической обусловленности определенных отрицательных сторон жизни не упраздняет ответственности за то отрицательное воздействие, которое они в себе несут, и не превращает отрицательное явление в положительное. «Темные стихии», о которых пишет Сергей Булгаков, имели объяснение в трехсотлетнем татарском иге и в двухсотлетнем крепостничестве, поведение энтузиастов грабежа и насилия, заполняющих страницы «Окаянных дней», имело объяснение в условиях их жизни, в прошлой жизни их самих и их семей, в годах, проведенных в мерзлых окопах и в боях, где они гибли неизвестно за что. Равно как имело исторические причины и историческое объяснение поведение мужиков, избивших врача, приехавшего их спасать от эпидемии, и поведение старухи, раньше излеченной этим врачом, а теперь, обнаружив в нем признаки жизни, приведшей тех же мужиков добить его. В глазах русского интеллигента, принявшего призывы Достоевского как евангелие, любое поведение, вплоть до самого дикого и страшного, поскольку оно имело исторические причины и объяснение в условиях жизни народа, не только могло, но и должно было быть этими причинами оправдано. Оно переставало быть виной, за которую надо отвечать, и становилось тем, что «мы должны принять за правду». Единым понятием народа во всей прозренной Достоевским святости и благодати интеллигенция продолжала охватывать любые его проявления, не замечать всего того, что в пореформенную пору в нем пробудилось, открылось, чтобы в дальнейшем нарастать, и по-прежнему полагала свое назначение в служении ему ради интересов страны и ее исторического и нравственного самоутверждения. Чем дальше, тем больше она была обречена на постоянное выполнение этого долга в оправданном убеждении, что неуклонное следование ему и делает ее интеллигенцией. Но одновременно обречена она была и на растущее понимание несовместимости такого безоговорочного следования этому долгу с тем, что не менее властно позволяло ей считать себя интеллигенцией и ею быть, с тем, что «остается при ней и что она не отдаст ни за что на свете». Ей предстояло существовать и сохраняться как часть исторической структуры русского общества во всех испытаниях, которым ей пришлось подвергаться, до тех пор, пока такое совмещение оставалось возможным.

В совмещении этом была скрыта некая двойственность, для понимания дальнейших судеб русской интеллигенции не менее важная, чем перечисленные выше три коренных параметра ее бытия. Дело в том, что в «хартии» Достоевского при определении обязанностей ин-

теллигенции перед народом и ее поведения по отношению к нему были нерасторжимо сплетены нравственное чувство («Кто истинный друг человечества...», «У кого хоть раз билось сердце по страданиям народа...») и общественное поведение («давайте способствовать вместе, чтоб дело обошлось прямее и безошибочнее»; «...ведь дело-то под конец наладится...»). Для того чтобы «дело наладилось» и чтобы оно «обошлось прямее и безошибочнее», надо ему «способствовать вместе»; взгляд должен стать действием, нравственное переживание страданий народа – борьбой против сил, от действия которых народу становится хуже. Борьба может быть теоретической или практической, может быть словесной – публицистической или художественной, но без *участия в ней*, без сознания, что *я* не только констатировал общественное зло, но так или иначе, в своем поведении, своем образе жизни, своем общественном темпераменте, вовлечен в *борьбу* с ним, интеллигенции – такой, какой она вышла из «кодекса» Достоевского и какой она описана на предыдущих страницах, – в принципе не могло быть. Восприятие интеллигенции как сословия, нравственно взыскующего изменения общественного состояния к лучшему, настоятельно его требующего, противостоящего по этой линии консервативной и корыстной власти и в этом смысле революционного, случайно составляет общее место почти во всех дефинициях этого сословия в иностранных словарях и энциклопедиях¹⁷. Авторы «Вех» констатировали, что один из главных недостатков интеллигенции – в том, что нравственный и общественный кодекс ее включает оба означенных элемента, нравственный и деятельный, но ныне в этом ее двуедином кодексе духовная ответственность перед верой, культурой и историческими судьбами России отступила на второй план перед практической, чаще всего революционной, деятельностью по защите насущных, сегодняшних прав и материальных интересов народа. Конститутивному, основополагающему для интеллигенции двуединству вовлеченности в конкретную практическую общественную жизнь, в деятельность в интересах народа, и нравственной ответственности в ходе такой деятельности перед более общими и широкими духовными смыслами своего бытия суждено было пережить коренные перемены в ходе тех испытаний, что выпали на долю интеллигенции на протяжении советского периода ее истории.

Испытания

С 1917 года начинается новый, советский, этап в истории интеллигенции, особая, заключительная фаза ее бытия. Следующий ниже рассказ о ней – не столько совокупность сведений, сколько свидетельство экзистенциального опыта последнего поколения, такой опыт пережившего. Смысл этого опыта заключался в последовательных испытаниях, через которые прошла интеллигенция. Испытывалась ее способность остаться самой собой, т. е. по-прежнему соединять служение истории, обществу, стране и народу в реальных формах их общественно-исторического бытия, по-прежнему ощущать в душе их идеальный образ, этим формам противоречивший и в то же время их освящавший, и способность по-прежнему сочетать такое служение с верностью своим исходным началам, которые она «не может отдать ни за что на свете» и которые определились на предшествующих этапах ее исторического существования: приверженности общественным интересам на основе критического мышления и совести, приверженности образованности, демократизму, диалогу с культурными традициями Европы и мира.

В революции и в ходе социалистического строительства понятие народа как источника и резерва переустройства жизни на лучших, светлых и гуманных основаниях фигурировало постоянно. Революция, однако, предполагала и постепенное освобождение этого народа от все тех же «грубости и разврата, мрака и невежества», которые теперь стали именоваться «пережитками капитализма». В освобождении народной жизни и народного сознания от «пережитков капитализма» состоял один из основных смыслов идеи диктатуры пролетариата. Соприсутствие этих двух образов народа и конечное мистическое торжество первого над вторым составило содержание самого раннего гимна, которым русская интеллигенция приветствовала русскую революцию, – поэмы Блока «Двенадцать». Более трезвая констатация принадлежала Ленину: «Рабочие строят новое общество, не превратившись в новых людей, которые чисты от грязи старого мира, а стоят по колени еще в этой грязи»¹⁸.

В обоих этих суждениях содержалось признание того, что прояснение «правды народной» и утверждение образа народа как носителя исторической справедливости есть конечная и более или менее отдаленная цель движения, тогда как «грубость и разврат, мрак и невежество», «грязь по колени» образуют во многом реальную стихию его повседневного существования. В результате в понятии народа соединялись, наплывали друг на друга и взаимодействовали его темный, эмпирически преобладавший

образ и неотделимый от него образ метафизический, заданный нравственно и философски, возвышенный образ носителя народной правды, перед которым «мы должны преклониться».

Для проблемы, нами разбираемой, положение это – ключевое.

Расщепление понятия народа, с одной стороны, на носителя суверенитета и потенциала нации, источник нравственной и правовой санкции общественного порядка – короче, на некоторое идеализованное воплощение общественной целостности и ценности, а с другой – на то большинство населения, которое в какой-то мере играло указанную роль, но без анализа и рассуждения, в силу лишь своей объективной и инстинктивной принадлежности роевому целому, а значит, большинства, сплошь да рядом безразличного к книжной культуре, невежественного и враждебного образованным верхам, было объективно задано и существовало везде, где само это понятие входило в социально-правовую и морально-психологическую систему государства, как в античном полисе или хотя бы в США XVIII–XIX веков. Но ни там, ни тут образованное сословие не делало отсюда вывод, что социальные низы монополюно представляют народ, что они – больше «народ», чем оно само, и потому не считало своим нравственным долгом служить именно им в ущерб себе (единственное, кажется, исключение – Афины V–начала IV веков до н. э.). Цицерон не сомневался, что «только тот оратор велик, который кажется великим народу»¹⁹, и не скрывал отвращения, которое вызывал у него тот же народ в виде орущей в цирке толпы²⁰. Лонгфелло прославил демократию Америки XIX века, ее народ и его традиции, но нет сведений, чтобы он когда-либо жаждал «преклониться» перед мясником из Чикаго или доярком с Западного побережья.

В России все было по-другому. Когда на сцене истории остро обозначился не только воспетый Достоевским и признанный интеллигенцией народ в его символическом значении и возвышенных проявлениях, но и тот иной его слой, который был так введом тому же Достоевскому и, если судить по авторам «Вех», введом той же интеллигенции, этот самый слой немедленно заговорил именем народа в целом и потребовал от интеллигенции признать, что она, интеллигенция, обязана ради выполнения своего главного и вечного дела, «ради счастья слияния с народом» смириться с настороженной неприязнью этого слоя к себе, принять и одобрить произвол, насилие и правовой нигилизм, от него исходившие и теперь излившиеся в повседневно окружающую жизнь. Потребовал, другими словами, видеть не то, на что смотришь, а то, что ты морально обязан видеть.

Через несколько лет после революции положение было зафиксировано Пастернаком в «Высокой болезни»:

А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент
В огне декретов и реклам
Горел во славу темной силы,
Что потихоньку по углам
Его с усмешкой поносила
За подвиг, если не за то,

Что дважды два не сразу сто.
А сзади, в зареве легенд,
Идеалист-интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката.

Начиная с зимы 1917/1918 года воцарилось, чтобы «в зареве легенд» сохраниться до конца, то скользкое неуловимое и потому ловко и постоянно используемое властью и пропагандой двуединство и неразличение, с одной стороны, установившегося строя как воплощения трудовой, рабоче-крестьянской, основы нации, Народа с большой буквы, а с другой – реально и повседневно представлявшего этот строй и эту основу неуклонно деклассировавшегося «черного народа», с которым интеллигенции отныне и приходилось иметь дело непосредственно. Выполняя свой вечный долг, она не могла не «извинить всю непроходимую наносную грязь», не признавать правоту и не служить ему и власти, которая ведь представляла как воплощение и бескомпромиссный суровый радатель этого самого Народа, как бескомпромиссный защитник его интересов, которая вела этот самый народ «на бой за землю, за волю, за лучшую долю». И не могла в то же время не ощущать, вопреки постоянным самоубеждениям, как реально этот радатель и защитник, вопреки всем декларациям, сливается с антиинтеллигентской черной силой и вместе с ней «потихоньку, по углам, с усмешкой» поносит все «наше, что должно остаться при нас» и «с чем мы не расстанемся никогда».

Ты сидишь на нарах посреди Москвы.
Голова кружится от слепой тоски.
На окне – намордник,
воля – за стеной,
ниточка порвалась меж тобой и мной.
За железной дверью топчется солдат...
Прости его, мама: он не виноват,

он себе на душу греха не берет –
он не за себя ведь – он за весь народ.
Следователь юный машет кулаком.
Ему так привычно звать тебя врагом.
За свою работу рад он попотеть...
Или ему тоже в камере сидеть?
В голове убогой – трехэтажный мат...
Прости его, мама: он не виноват,
он себе на душу греха не берет –
он не за себя ведь – он за весь народ.

Из «Письма к маме» Булата Окуджавы (1975)

Советская интеллигенция и жила в постоянном актуальном противоречии, повседневно изменяя себе в служении власти «черного народа», заявлявшего о себе чем дальше, тем больше, на митингах, клеймящих «врагов народа», в администрации, в городском пространстве, – повседневно убеждая себя на основе собственных традиций и настойчивой пропаганды в сохранении себя как интеллигенции вопреки *этому* народу ради конечных интересов *другого* – социального, нравственного и исторического резерва страны, представленного партией, государством и их органами, перераставшего в предмет общественной ответственности в целом.

Последнее замечание об общественной ответственности особенно важно. Рядовой средний интеллигент 1920-х–1930-х годов не был ни так наивен, ни так слеп, чтобы, повседневно сталкиваясь с проявлениями грубости, нахрапа, озлобленности, которую сплошь да рядом несла в себе заполнившая города полудеклассированная полудеревенская масса, продолжать служить ей и ее идеализировать в ее непосредственной эмпирической данности. Но в том-то и дело, что сама эта масса отчасти еще сохраняла привычки совести и патриархальной учтивости (как правило, исчезнувшие в 1940-е и 1950-е годы) и тем подчас содействовала сохранению (или восстановлению) интеллигентского к ней дружелюбия, не давая исчезнуть положительному образу «трудового народа». Главное же, однако, что, вопреки всем репрессиям и всем проявлениям социальной несправедливости, парадоксально и непреложно сохранялось то ощущение национально-государственного единства, которое порождало чувство общественной ответственности и которое на психологическом, ментальном уровне придавало общезначимый и внятный смысл официальной формуле о морально-политическом единстве советского народа. Когда мы говорим о сохранении в сознании интеллигенции советской эпохи верно-

сти народной идее, ее надо мыслить себе *cum grano salis* – не столько как собственно народной, сколько как подспудное переживание этого единства.

Нельзя также не учитывать, что именно в советских условиях широкие слои интеллигенции обрели по крайней мере одну черту, своей сущности особенно адекватную, – трудовую и относительно равномерную материальную непритязательность, инстинктивное ощущение преимущественной важности духовных помыслов над финансовыми или карьерными. В 1930-х годах зарплата врача или инженера, даже библиотекаря, даже машинистки, давала возможность быть в основном сытым, платить за квартиру, раз в год съездить в деревню отдохнуть, раз в год что-то купить из платья, раз в месяц сделать винегрет или испечь оладьи и съесть их с повидлом, пригласив одного-двух знакомых. Уровень этот был стабилен, потому что анкетно-номенклатурный принцип выдвижения кадров исключал всякую возможность перехода обычного интеллигента в более высокие страты, где были икра и семга, отдельные квартиры и служебные автомобили; это был другой мир, где интеллигенция была в принципе невозможна (хотя в порядке индивидуально избирательного исключения кооптация в эту сферу отдельных интеллигентов время от времени происходила – Валентин Катаев называл их «любимыми собачками», относя к ним и самого себя).

Следствие всей этой ситуации – участие интеллигенции на первых порах во власти, а позже, после вытеснения ее из власти, ее конформизм, ее готовность сотрудничать во имя итоговой, этим режимом монополизированной «правды народной» в коллективизации, в прославлении ГУЛАГа, в антикосмополитической кампании. И при этом – ее неспособность полностью перестать быть собой, участвуя в народном образовании, в медицине, в искусстве, в науке, острое ощущение властью этой вечно тлеющей неспособности стать до конца «своей», слиться и раствориться, и настоятельное оттеснение или прямое репрессирование всех, оказавшихся особенно неспособными до конца расстаться с тем, «с чем мы не расстанемся никогда».

Именно эта ситуация обычно служит основой для установившейся в постсоветский период оценки исторической роли советской интеллигенции. В такой оценке сочетается беглое, преимущественно мемуарное, воспоминание о школьных учителях, артистах, журналистах, художниках, поэтах, честно делавших свое дело, но сплошь да рядом именно поэтому оказывавшихся не ко двору и несших за это «заслуженную кару» (иногда, в специальных исследованиях, речь идет об ученых, погибших в лагерях,

просто о знакомых порядочных людях, о правозащитниках), с доминирующим в последнее время громогласным – в кино и в романах, в газетах и журнальной публицистике – разоблачением сервильной «бесхребетности» интеллигенции, ее чуждости народу как представителю Народа и ее соучастия в практике режима.

Есть причины считать, что такой оценочный подход во всех перечисленных вариантах неадекватен материалу и морально недопустим.

Для оценки советской интеллигенции как целостного исторического явления он бесполезен, поскольку двойственность ее общественного бытия делала каждый факт, к такому бытию относящийся, двусмысленным, несущим в себе свою противоположность и сплошь да рядом противоположность эту реализующим. Любая однозначная оценка оказывается здесь неадекватной принципиально многозначной сути дела. Примеров – миллионы, от Ариадны Эфрон до маршала Рокоссовского, от Мандельштама до правозащитников из партбюро. И такой подход недопустим морально. Кем надо быть, чтобы, склоняясь над этими безднами истовой веры и бесконечной лжи, верности своему интеллигентскому долгу и из этой же верности вытекающим призывам изменить ему, непонятно откуда и, главное, за что сгущающихся страданий и самых искренних коллективных восторгов, бесконечного сочувствия к мучениям близких и невозможности пойти на то, что от тебя требуется, дабы облегчить их участь, и невозможности, внутренней и внешней, на это не пойти, страха за них и за себя, постоянно уничтожаемого и постоянно возрождающегося ощущения, что «в нашей буче, боевой, кипучей, и того лучше», где, значит, так естественно «преклониться перед правдой народной» и, конечно же, перед ее авторитетными представителями, и ужаса перед тем, что это может значить, – склоняясь над этими безднами и столь многими и многими еще, в лучшем случае – из пока благополучного сегодня, а в худшем – из сохраненных с тех еще времен номенклатурных квартир и дач, кем надо быть, чтобы выносить приговоры интеллигенции в целом? Впрочем, вопрос этот скорее риторический. Мысль и доминирующая эмоция здесь всегда одна: ты выжил, значит, ты приспособивался, обслуживал своей эрудицией несправедную власть, значит, ты не интеллигент, а мерзавец, или, вернее – мерзавец, потому что интеллигент. Как пелось в одной фронтовой негласно-фольклорно-окопной песенке: «Наутро вызывают меня в осободдел: “Что же ты, сволочь, с танком не сгорел?”».

Сравнительно с предшествующими ее состояниями, в первую очередь сравнительно с интеллигенцией конца XIX века и с предреволю-

ционной, советская интеллигенция представляла собой явление, от них отличное и совершенно особое. Между, примерно, 1870-ми и началом 1920-х, к интеллигенции относили людей, принадлежавших к научной или художественной среде, в ней органичных и достигших в ней более или менее значительного уровня. Интеллигенцией, например, были актеры Художественного театра, но не реальные прототипы Счастливецва или Несчастливецва, арбатская профессура, описанная Андреем Белым в «Конце века», но не проживавшая в Столешниковом по-своему рафинированная финансово-капиталистическая среда, описанная в его же романе «Москва». Чехов был бесспорный интеллигент, но дружба его с издателем Сувориным была, на взгляд Межковского и его круга, с этим положением несовместима.

В годы военного коммунизма и в последующие десятилетия положение это изменилось в корне. В структуре и стратиграфии общества место интеллигенции занял тот несравненно более широкий слой, который в анкетах обозначался как «служащие», т. е. в подавляющем большинстве случаев – лица, окончившие до революции лишь гимназию, и их дети. Характеристикой этой интеллигенции стал определенный стиль (в большинстве случаев и уровень) повседневной жизни, манера поведения и речи, привычки, быт. Идентифицирующие признаки выглядели, казалось бы, совершенно тривиально: не произносить некоторых слов; не улыбаться на непристойные анекдоты – лучше не улыбаться вообще, во всяком случае при женщинах, независимо от того, кто эти анекдоты рассказал; не выходить на коммунальную кухню и не греметь кастрюлями, если в соседней комнате спит человек, вернувшийся с ночной смены; вносить свою долю за коммунальное пользование электроэнергией или телефоном сразу, а не выжидать, пока, под угрозой отключения, эту долю внесет сосед; не уносить домой и не использовать для личных нужд приборы и инвентарь, выданный на работе для осуществления служебных заданий; не брать денег за выполнение работы, которую ты обязан выполнять за зарплату, *vulgo* – взятку, а согласившись занять определенную должность, не халтурить при выполнении служебных обязанностей, мотивируя это тем, что зарплата маловата; вставать или не вставать при входе женщины, но не проводить четкой дифференциации: если начальство – вставать, если подчиненная – нет; учителю в школе принимать подарки от выпуска в целом в конце учебного года, но не принимать их от отдельных учеников; благодарить не только за оказанную личную услугу, но и за каждый случай выполнения человеком по отно-

шению к вам своих служебных обязанностей; не корректировать тон обращения к сослуживцу по тому тону, в котором к нему стал обращаться заведомо; не стесняться в собственной речи дееспричастных оборотов и, главное, – столь многих раздражающей ключевой мотивировки: «это неудобно»; а также многое, многое другое в том же духе, не говоря уже о том, чтобы не писать доносов на соседа, с которым поссорился на кухне, для начала – в домоуправление, а входя во вкус – и в так называемые «органы».

Следование в повседневной жизни перечисленным привычкам значило подчас гораздо больше, чем любая декларация. Оно выражало не образ мысли, подверженный в описанных выше условиях, внутренних и внешних, сомнениям, не принципы поведения, не могущие в тех же условиях не реагировать на окружение, но ту исходную субстанцию, тот срез личности, то «я», что и есть (или не есть) интеллигент, уж какой-никакой, – культурный тип, ставший индивидуальностью, интеллигентом, который может по-разному думать, по-разному себя убеждать, по-разному решать или даже поступать, но который в чем-то невыговариваемом, самом бездумном, простом и повседневном, остается себе равным. И как же остро ощущали среда и время эту такую естественную, простую, такую вроде бы даже покладистую, такую негромкую и безгероичную субстанцию! Как чувствовали в ней одни «свое», другие – «несвое» и как проецировали на «культурный тип, ставший индивидуальностью», это свое отношение!

Академик Лихачев как-то сказал, что «интеллигент – это то, чем нельзя притвориться». В одном из рассказов Солженицына есть беглая зарисовка: Лагерная столовка. Все жадно хлебают баланду, в том числе и люди, вернувшиеся из ледяной тайги, после особенно мучительного и трудного «урока». Среди них – старый лагерник какой-то примечательной, интеллигентной внешности. Он единственный достает из кармана чисто выстиранную тряпицу, чтобы на нее, а не на грязный стол, положить свою пайку хлеба. Ничего больше о нем не сказано. Описанная деталь показалась автору достаточной... Группа российских писателей едет с официальной культурной миссией в Израиль. Среди них пожилой писатель, тяжелый сердечник. В новом для него климате приступы следуют один за другим. Надо делать операцию шунтирования, но об этом не может быть и речи: она стоит от 20 до 30 тысяч долларов. «Ты ведь по паспорту еврей, – говорят ему товарищи по группе. – Обратись к властям, скажи, что ты всегда мечтал вернуться на историческую родину, тебе дадут гражданство, и операцию

можно будет сделать бесплатно». «Да нет, – отвечает он, – какой из меня еврей... непорядочно это как-то, неудобно». Группа вернулась в Москву, через месяц он умер.

В ходе выпавших на долю советской интеллигенции суровых испытаний этот стиль существования раскрывался как нечто несравненно большее, нежели только повседневность и быт. На протяжении советских лет главными среди этих испытаний были испытание коммунальной кухней и испытание репрессиями (не будем касаться здесь испытания более исторически заданного, длительного и глубинного – испытания национальной идеей, так неоднозначно сочетавшейся с органическим интеллигентским интернационализмом).

Декретом советской власти от 20 августа 1918 года было экспроприровано частное домовладение. Лица, владевшие домами, либо утрачивали их, либо становились их арендаторами, и им было предписано провести «уплотнение» – таким образом, чтобы число людей, проживающих в квартирах, было значительно увеличено за счет вселения в них разных семей, причем преимущество отдавалось лицам «из народа» – рабоче-крестьянского происхождения и имевших заслуги перед советской властью. Декрет этот задним числом санкционировал практику, реальную уже в течение многих месяцев: по официальным данным ко времени его опубликования в квартиры, принадлежавшие дореволюционным владельцам, явочным порядком в Москве вселилось не менее 300 тысяч человек²¹. Практика состояла либо в захвате силой комнат в квартирах солдатами, хлынувшими с фронта в большие города, либо в закреплении за прислугой той комнаты, которую она занимала при прежних хозяевах. В обоих случаях лица, получившие такую жилплощадь, продолжали процесс «уплотнения», выписывая из деревни родственников, нередко вместе с семьями. Это положение описано, например, в романе Михаила Осоргина «Сивцев Вражек». Арендаторы «уплотнялись» также самостоятельно, прописывая к себе *своих* родственников или семьи, в социальном и культурном отношении более себе близкие. Такая возможность существовала, так как в большие города, прежде всего в Москву и в Петроград, энергично переселялась и провинциальная интеллигенция, также искавшая возможность поселиться в более себе привычном окружении. Последнее получалось редко, реализовались оба варианта, и коммунальная квартира, как правило, представляла собой арену совместного проживания семей самого разного культурного и социального облика. В этом отношении типичной могла считаться, например,

коммунальная квартира в доме № 15 по Гагаринскому переулку, некогда принадлежавшем родителям декабриста Штейнгеля, а до революции известному философу Лопатину: «На антресолях продолжал жить его лакей Сергей со своим сыном студентом Колей. Кроме них, в мансарде жили кухарка и генеральша Прокопе, бывшая знатная дама, судя по фотографии молодой красавицы в кружевах и бриллиантах»²².

Коммунальный быт был неоднороден в пространстве и во времени. В пространстве – потому что новое население стремилось разместиться прежде всего в домах модерн, где обычно проживала до революции (и в значительной мере сохранилась и после нее) интеллигенция средней руки – врачи, гимназические учителя, инженеры, где существовали уже все удобства, и менее охотно селилось в старинных особняках, вроде упомянутого только что или вроде описанного Осоргиным, где таких удобств не было. Во времени – потому что вселявшиеся в начале двадцатых годов, «революцией мобилизованные и призванные», сильно отличались от вселявшихся в начале тридцатых, вытолкнутых в города коллективизацией, и еще более радикально – от послевоенных, часто – деклассированных, воспитанных черными рынками военных лет. Созданные именно ими уж совершенно невыносимые условия (вместе с другими обстоятельствами) положили конец коммунальной эре. Развернувшееся с середины пятидесятых массовое жилое строительство на окраинах дало возможность уцелевшим в качестве социально активных интеллигентным семьям перебраться в отдельные квартиры. Как коренная социокультурная характеристика советского общества и важный параметр существования интеллигенции коммунальная квартира прожила лет 35–40, с 1920-х до 1960-х.

Пока эта эра длилась, сам принцип «уплотнения» и инструкции по его проведению в жизнь делали сосуществование интеллигенции и социокультурно от нее отличного контингента более или менее универсальным. Практической реальностью такого сосуществования была царившая здесь теснота. В Москве по данным на 1923 год в каждой комнате жили по одному-два человека 54,7%, по три-четыре – 31,8%, свыше четырех – 4,9%²³. Для тридцатых годов эти цифры нужно увеличить по крайней мере в полтора-два раза. Повсеместно распространенными стали комнаты, разгороженные шкафами на своеобразные зоны, в каждой из которых обитало отдельное поколение, а следовательно, сплошь да рядом и отдельная семья. Стали встречаться и комнаты, разделенные по вертикали, где часть большой семьи спала внизу, а другая часть – на импровизированных полотах. Местами сосуществования разных семей

становились также бараки, залы в старинных домах, разгороженные занавесками на квазиотдельные жилые ячейки. Теснота и делала коммунальный быт испытанием интеллигенции на выживание. Она превращала жизнь в ее повседневной фактуре, в ее обыкновениях, привычках вплоть до самых интимных, привитых традицией и культурой, превращала повседневную жизнь со всем, «принесенным с собой», в постоянное напряженное взаимодействие разнородных и плохо совместимых жизненных укладов, усиленное, с одной стороны, полуофициальной социально-психологической установкой недоверия и враждебности к «буржуазии», то бишь к интеллигенции, а с другой – сплошь да рядом – несмотря ни на что и вопреки опыту – императиву если не «преклониться перед народом», то во всяком случае примириться с его особенностями.

В обобщенной и несколько академизированной ретроспекции этот быт встает из книги И.Утехина «Очерки коммунального быта»²⁴; в своей пережитой документальной непосредственности – в воспоминаниях художника Владимира Домогацкого²⁵ и Натальи Ильиной²⁶; в просвеченном личной эмоцией художественном изображении – в «проклятой квартире» из «Театрального романа» и, в первую очередь, из «Мастера и Маргариты» М.Булгакова, особенно если читать соответствующие страницы параллельно с комментирующим мемуарным материалом²⁷; в гротесковой шаржированности – в знаменитой Вороньей слободке Ильфа и Петрова (из романа «Золотой теленок»); в трагическом опыте послевоенных лет в повести Бориса Ямпольского «Московская улица»²⁸.

Само обилие этих публикаций (а мы назвали весьма малую их часть) говорит о том, что перед нами целая полоса жизни русского общества советской эпохи. В каждой (кроме, может быть, первой) речь идет *expressis verbis* об интеллигенции: она – главный персонаж коммунальной эпопеи советской истории. В каждой говорится – в немногих более примирительно, в подавляющем большинстве остро конфликтно – о коммунальной квартире как о месте жестокой проверки способности интеллигенции остаться интеллигенцией и в каждой (опять-таки кроме этнографического исследования И.Утехина, где эта сторона дела находится вне рассмотрения) признается, что она ею осталась (там, где не заплатила психозом или гибелью). Интеллигенция Васильевского острова и окрестностей Таврического сада, Арбата и Чистых Прудов, Андреевского Спуска в Киеве и Волжской набережной в Нижнем – это интеллигенция. До революции и после нее, до второй мировой войны и даже какое-то время после. Это значит, что в ней сохранялось – поверх

конфликтов и распрей коммунального быта – коренное интеллигентское чувство ответственности за решение стоявших перед страной общих задач. Об этом говорит единая общеобразовательная школа тридцатых годов – бесспорно лучший этап в истории народного образования в России, где большую, если не бóльшую, часть учителей составляли выходцы из дореволюционной интеллигенции, а бóльшую часть учеников – «дети из народа»; об этом свидетельствует массовое участие интеллигенции, разделившей «ярость всенародную», в добровольном вступлении в армию летом и осенью 1941 года; в шестидесятые годы она сохранила и передала основные свои ценности демократической интеллигенции новой формации.

Среди этих ценностей долгое время сохранялась – поверх опыта коммунального быта и как бы без малейшей с ним связи – способность к «счастью соединения с народом». Из фронтового дневника студентки ИФЛИ, ставшей лейтенантом советской армии и отшагавшей в ее рядах от Ржева до Берлина: «...не принадлежишь себе, и это тоже способствует примирению с окружающим. Уже включена в единую с ними кровеносную систему. И, Боже мой, тебе уже легче, роднее с ними, у тебя уже бродят частицы их крови, ты проще, выносливее, тебя меньше мучит совесть, и чувство личной ответственности растворилось вместе с твоим растворением»²⁹.

Но нельзя не видеть и все то, что в ходе этого испытания оказалось утраченным. Разобранный выше текст Достоевского не случайно имеет продолжение в виде очерка «Мужик Марей». Плохо зная русского крестьянина и в крепостную пору, интеллигенция в пореформенные десятилетия уже совершенно утратила всякое реальное о нем представление, но тем более страстно и настойчиво стремилась узнать в нем «мужика Марей» – носителя всего того, перед чем «мы должны преклониться». Возможность найти таких крестьян, по-видимому, была; автор настоящих строк еще мальчиком встречал их (правда, считанными единицами) и в 20-е годы. Да и советский коммунальный быт изредка оставлял место не только конфликтам, но и известному «сплочению интеллигенции с народом». Доминирующая, итоговая, тенденция, однако, состояла в безоговорочном опровержении традиционных интеллигентских иллюзий о мужике Марее и о возможности достойного, «на уровне высоких принципов» непосредственно личного, повседневно бытового «контракта» с советскими претендентами на представительство его. После 60-х годов, по завершении коммунальной эры ситуация как-то сама собой рассосалась, вопрос об инокультурных и иносочальных

контактах как о едкой постоянной фактуре повседневного быта утратил актуальность, но вместе с ним утратила актуальность, исчезла, и одна из основополагающих иллюзий (и одновременно основополагающих черт) старой русской интеллигенции – ее готовность к «контракту с народом», невзирая на личные особенности каждого, кто в ее глазах к этому народу принадлежал и его представлял. Достаточно вспомнить мужичка, который неожиданно и непонятным образом появился в семье Герцена в Лондоне, был встречен восторженно как «настоящий русский крестьянин» и – начал знакомство с английской столицей с настоятельным приглашением старшему сыну Герцена посетить публичный дом, или пресловутого матроса Сашку, вселенного в порядке уплотнения в квартиру Блока и радушно встреченного семьей поэта, – описание некоторых его особенностей приходится опустить, оно для печати не совсем удобно. От подобных восторгов и радушия коммунальный быт последующих десятилетий интеллигенцию отучил.

Несравненно более суровому испытанию подверглась способность интеллигенции остаться верной своему исходному облику в ходе перенесенных репрессий. Суть вставшей перед ней нравственной проблемы (не говоря обо всех прочих проблемах, если не более важных, то более жутких) была ясно сформулирована одним коренным русским интеллигентом и в течение многих лет убежденным высокопоставленным коммунистом: «...приверженность определенной отвлеченной идее, определенному общественному движению, а следовательно, и неким обязательным целям должна привести и к подчинению средств этим целям; таким “средством” может стать целая жизнь. Но если цели не осуществились или произошла в жизни общества подмена целей, то обесцениваются и средства, тогда может обесцениться жизнь человека»³⁰. В какой мере могла интеллигенция после «подмены целей» остаться интеллигенцией?

Февральскую революцию приняла большая часть интеллигенции – даже та, что оказалась впоследствии в эмиграции³¹. Октябрьскую – очень значительная ее часть. В дальнейшем обе части становились не менее, а более многочисленными. В эмиграции свидетельство этому – сменовеховцы, евразийское движение, сотрудничество с советской разведкой людей из интеллигенции, ее (эмиграции) восторженная реакция на предложение Молотова в 1946 году возвращаться в Россию; в той части, которая оставалась в стране, – бесчисленное количество людей, принявших установившуюся советскую действительность, с одной стороны, как действительность, единственно данную, в которой надо вы-

жить, а с другой – в исторической перспективе и в сравнении с западным капитализмом – действительность благую и справедливую и к тому же окрашенную с детства привычными фразами о том, что «народ всегда прав»³². Поддержали революцию и люди иного типа, далеко не столь многочисленные, но несравненно более влиятельные идеологически, объединенные националистическими чувствами и готовностью видеть в большевизме благотворное возвращение к исконно народным допетровским корням³³. В идейном отношении – хотя отнюдь не в социокультурном и личном! – к ним примыкали и интеллигенты из среды националистически настроенного офицерства³⁴. Наконец, очень значительный слой, восторженно принявший революцию и надолго сохранивший эти чувства, составляли выходцы из той среды, которую революция избавила от дискриминационных ограничений, – еврейской интеллигенции и интеллигенции национальных окраин.

Все эти люди готовы были истово служить новой власти, дабы вместе с ней и под ее руководством отдать народу «многое из того, что принесли с собой». Власть ответила на такую готовность репрессиями. Интеллигенция не укладывалась в классовое представление о государстве, а имманентная ей потребность если не всегда участвовать в общественных делах, то всегда определенным образом относиться к ним «при свете совести», плохо совмещалась с идеалом монолитного единства общества, безоговорочно и однозначно руководимого партией. Репрессии, как известно, были постоянным признаком советской власти, охватывали самые разные слои, и выделить среди них те, что были направлены против интеллигенции избирательно и специфично, нелегко. К такого рода репрессиям бесспорно относились меры, цель которых состояла в том, чтобы не дать интеллигенции воспроизводить самую себя (в первую очередь – ограничение для ее детей доступа к образованию, не только высшему, но и среднему), поощрялись литературные произведения, призванные дискредитировать интеллигенцию и представить в карикатурном виде ее нравственный кодекс, – от «Двенадцати стульев» и «Золотого тельца» Ильфа и Петрова до «Студентов» Трифонова. Несравненно более важны и трагичны были бесконечные судебные процессы, как правило заканчивавшиеся расстрелом или концлагерем. Объектом таких преследований интеллигенция чаще всего становилась в составе других социальных групп, но были и случаи, когда таким объектом она становилась как таковая. В качестве примеров можно назвать хотя бы процесс Тактического центра (август 1920)³⁵ или группу процессов так называемых мистиков, к числу которых от-

носились масоны, тамплиеры, розенкрейцеры (конец 20-х–начало 30-х), вспомним разгромы университетских факультетов в ходе антикосмополитической кампании 1949–1953 годов, которые начинались с обвинений научных и общественных, а кончались сплошь да рядом обвинениями уголовными³⁶.

И в этом случае, как в предыдущем, связанном с коммунальным бытом, но несравненно реже и с несравненно большим трудом определенная часть интеллигенции продолжала сохранять верность властям и тем социальным силам, которые по инерции назывались народом. Идеальное единство всех трех сил признавалось в этом случае сохранявшим свой идеальный смысл и только поруганным в дурной практике, допускавшим, однако, и даже предполагавшим восстановление во всей своей чистоте. От интеллигенции, другими словами, требовалось во имя своих и общенародных высших идеалов содействовать господствующим силам, самую интеллигенцию и «то, что она не отдаст никогда», уничтожавшим. В таком положении оказывались прошедшие лагеря военачальники, во время войны подчинявшиеся приказам, но при этом имевшие возможность и основания гордиться тем, что они, после всего пережитого, защищают страну от фашистского порабощения. В таком положении были зэки – актеры, режиссеры и художники театров ГУЛАГа: обслуживая лагерное начальство и помогая ему создавать видимость нормальной культурной жизни, они спасали *свою* жизнь, избавляя себя от убийственного каторжного труда, но этим дело не исчерпывалось.

«Лагерь есть лагерь. Мы постоянно находились под наблюдением оперуполномоченного и коменданта. И в карцер нас сажали за нарушение режима, и обыск устраивали нередко, и в этапы отсылали, и на репетициях торчали. Все было». Однако «выступления проходили с успехом, нас везде ждали. Мы выступали в бараках, в цехах, на строительных площадках, в поле во время сельхозработ, в клубах, на разводах. Я верил, я видел, что культбригада, что я, что мы помогаем преодолевать чувство безнадежности, чувство неволи»³⁷.

Из воспоминаний актрисы ГУЛАГа Тамары Цулукидзе, проведенной четырнадцать лет в лагерях, почти весь срок на общих работах – лесоповал, каменный карьер, до ареста – актрисы Театра Руставели в Тбилиси, весь коллектив которого был обвинен (по инициативе первого секретаря ЦК Грузии Л.П.Берия) в создании «террористической группы» и все мужчины расстреляны: «Я вылетаю на сцену... Сердце стучит отчаянно, как никогда. Движения ярче, жесты шире! Я ли это? Что со мной

сталось? Неужели магия большой сцены все еще жива во мне? Значит, артистка не совсем угасла? Публика слушает, затаив дыхание»³⁸. И апофеоз: «Когда же, наконец, умер “отец всех народов”, меня освободили. Реабилитировали “за отсутствием состава преступления”. Вновь пригласили в Театр Руставели. Там я заново (спустя двадцать лет) дебютировала – в роли матери Ленина в пьесе “Семья”»³⁹.

Интеллигентский императив участия в жизни людей и общества на основе собственных убеждений вопреки всему продолжал проявляться и в других формах. Прежде всего во все еще преобладавшем добросовестном отношении к своему труду на основе эрудиции и квалификации; кроме того, в какой-то мере, начиная с шестидесятых годов, в многочисленных (и неизменно подавлявшихся) выступлениях интеллигенции за очищение жизни от, как тогда официально признавалось, «деформаций и искажений», но выступлениях, как столь же официально признавалось, слишком радикальных, замахивавшихся на систему. В хрущевские годы то были требования довести до конца десталинизацию, а в постхрущевские – участие в правозащитном движении и диссидентстве, в раннегорбачевские – дань эйфории гласности и перестройки, а в позднегорбачевские – оборона Белого дома. И тем не менее, испытание репрессиями сделало для большей части «образованного сословия» невозможным простое возвращение к исходной хартии, к убеждению в необходимости видеть за *realia realiora*, за окружающей мерзостью – воздыхание по «великим и святым вещам», короче – видеть не то, на что смотришь, не то, что перед тобой, а то, что, исходя из морального долга, ты обязан видеть. Перенесенный опыт породил теперь в интеллигенции желание, с ее былым классическим кодексом несовместимое, – выйти за пределы всех пережитых контрверз, найти для себя иную сферу духовного бытия, перестать, наконец, мыслить категориями системы, общества и народа.

Начиная с шестидесятых годов в ее среде все большее распространение получают маргинальные формы жизни, этика и эстетика негромкого, кружкового бытия. «Меня зовут улитка Сольми. Это моя философия и ощущение меня в мироздании. Я хочу жить в том самом мире, который я рисую. Я рисую то, чего нету, но что очень и очень хочется. Это мой побег от коррозии, трещин на асфальте, от близких домов. Я просто убежал, потому что я рожден не для этого мира, где надо бороться. Я не приспособлен к борьбе, ну не приспособлен, как меня ни крути. Я не хочу ничего делать, я не хочу лгать, не хочу обманывать, не хочу пробивать себе дорогу куда-то. Не хочу, потому что я не вижу

смысла. Я счастлив тем, что живу для себя и для своих друзей, потому что я такой же, как они»⁴⁰. Ширится уход студентов из вузов и поступление их на работу, позволяющую прожить вне истеблишмента, – дворниками, курьерами, киоскерами. По сходным причинам растет самодеятельное искусство и самодеятельный туризм. С начала семидесятых начинается и неуклонно ширится эмиграция, в те годы еще охватывавшая почти исключительно интеллигенцию. Сама наступившая в хрущевское и постхрущевское время особая фаза в эволюции интеллигенции, так называемое шестидесятничество, в своей глубине и по своей природе выражала себя (вопреки тому, что принято считать сейчас, тридцать с лишним лет спустя) не столько в политической оппозиции режиму, сколько в самом принципе маргинальности, в манерах и стиле обычного поведения и повседневного быта.

Мироощущение возникавшей таким образом своеобразной новой среды – все еще интеллигенции, но уже за пределами исходной хартии и даже за пределами большинства ее позднейших модификаций, отразилось в двух книгах середины семидесятых годов – в романе В. Орлова «Альтист Данилов» (1973–1977) и исследовании И. Соловьевой «Немирович-Данченко» (1983). Здесь не место разбирать подробно каждую из этих публикаций. В первой из них самое характерное и для наших целей важное – жизненная эволюция заглавного героя. Вполне обычный, ничем не выдающийся музыкант, играющий в оркестре на альте, переживает множество приключений и реально жизненного, и виртуально демонического свойства. В конце концов он обретает социальную, нравственную и духовную устойчивость – он живет теперь в одном из полукрайних районов Москвы, возле Останкина, в тесной маленькой квартирке в дешевой новостройке, где на кухне по вечерам на стол выползают бытовые муравьи, и никак не выкроит время выбраться в соседнее ателье за отданными туда давным-давно в ремонт брюками. Он не общается больше ни с противниками, ни с единомышленниками, у него есть его Наташа, есть радующий его альт, и он вполне примирен с жизнью. Но только каждый раз, когда по радио рассказывают, что в Таиланде полиция разгоняет студенческую демонстрацию, у него начинается жестокая мигрень. Суть книги о Немировиче-Данченко передать и того проще. Автор открыл в нем тип, который представлялся ему особенно актуальным: прославленный театральный режиссер и интеллигент, который «никогда не спорил с историей», – до революции вел Художественный театр по пути, который тогда назывался «новым искусством», после – по пути социалистического реализма; и до, и после был

знаменит своими ослепительно белыми, как бы фарфоровыми пластронами, никогда не вязывался ни в какие истории и кончил председателем Комитета по Сталинским премиям.

Как и в испытании коммунальной квартирой, пройдя через испытания репрессиями и через осмысление их, интеллигенция сохранила из своих свойств к середине 1980-х годов достаточно, чтобы с известными основаниями продолжать называться (или по крайней мере называть себя) этим именем, но начала расставаться с основополагающей чертой (и одновременно основополагающей иллюзией) старой русской интеллигенции – внутренней и внешней общественной ангажированностью в рамках системы власть–народ–интеллигенция. Расставаться с той чертой и той иллюзией, которая на протяжении столетия с лишним, собственно, и делала ее – в еще большей мере, чем все другие ее черты, – интеллигенцией.

Они сидят в кружок, как пред огнем святым,
забытое людьми и Богом племя,
каких-то горьких дум их овевает дым,
и приговор нашептывает время.

<...>

Наверно, есть резон в исписанных листах,
в затверженных местах и в горстке пепла...
О как сидят они с улыбкой на устах,
прислушиваясь к выкрикам из пекла!⁴¹

Приговор

Повторим.

Вплоть до конца XX столетия русская интеллигенция оставалась тем, чем всегда была ранее, ибо в ходе выпавших на ее долю испытаний сохраняла свои коренные, основополагающие признаки. В столкновении с тем самым народом, чьи идеалы она некогда «признала подлинно прекрасными», а теперь – с той его частью и тем его состоянием, где поднялась «вся непроходимая грязь, в которую он погружен», – интеллигенция тем не менее сохранила уважение к квалифицированному труду и добросовестность в исполнении своих общественных обязательств, к образованию и приличному поведению в повседневной жизни. В чудовищных испытаниях, которым подвергло ее «социалистическое государство рабочих и крестьян», она сохранила свою веру в разум истории и в гуманизм культуры. И только в последние годы XX века на нее над-

винулись испытания, которые оказались несовместимыми с самой ее сущностью. Они возникли из сложившейся к тому времени новой цивилизации и новой культурно-исторической атмосферы, и поэтому преодолеть эти испытания русская интеллигенция не могла. То были испытания долларом, утратой самоидентификации, обесценением научной истины. Исход *этих* испытаний знаменовал завершение ее исторической роли и ее исчезновение с арены русской истории.

Исчезновение ее было задано движением времени, неуклонным и непреложным, но такой непреложностью смысл происшедшего в истории не исчерпывается. История отражает жизнь общества в целом, и ее перемены уносят то, что они в силу сложившихся условий должны унести. Реально же история живет и осуществляется в человеке – в подлинном ее субъекте, в ней участвующем и ее создающем, в ее переменных живущего и их прожившего. Для такого человека, то, что случилось, *случилось* – тогда и здесь, именно с ним и, как он ощущает, только с ним. В этом смысле история всегда *феноменологична*. Но она и *экзистенциальна*, ибо все случившееся не только случилось, но и *пережито* историческим человеком внутренне, во всем своеобразии и неповторимости его личного опыта, пережито всем его существом, как никто другой не переживал. Завершение роли русской интеллигенции входит в число подобных событий, из которых история состоит *реально*, – однократных, пережитых и оплаченных. С ней ушла из русской истории миновавшая, но и навсегда сохранившаяся ценность – *aufgehobenes Wert*, как сказал бы Гегель. Герцен был прав, требуя «смирения перед истиной». Но только из этого не следует, что человечество и мы вместе с ним можем, как думал Маркс, «смеясь, расставаться со своим прошлым».

Для начала – об испытании долларом, или, как выражался тот же Маркс, – о «безжалостном чистогане». Исходная аксиома интеллигенции – превосходство духовных ценностей над материальными. Общественные условия, в которых она всегда существовала, позволяли ей этой аксиоме соответствовать, до революции – за счет относительной ценности умственного труда, которая давала возможность интеллигенту, реализуя себя именно в качестве интеллигента, обеспечивать свои скромные потребности; после 1917 года – за счет предельного, но в большинстве случаев все же позволявшего выжить, сокращения этих потребностей. Условия, наступившие после 1991 года, оказались для этой аксиомы неблагоприятными, а с течением времени и губительными. Экономическая система, получившая название рыночной экономики в ее специфически российском варианте конца XX века, предполагала (и пред-

полагает) выравнивание потребностей и цен по западноевропейскому уровню при уровне доходов интересующей нас сейчас группы населения несравненно более низкому. Дабы выжить и оставаться интеллигенцией, от этой группы потребовалось преодолевать возникший разрыв. Поскольку же традиционные, специфически интеллигентские виды деятельности необходимых средств для этого не давали и не дают, разрыв должен был покрываться за счет активности иного характера, с традициями интеллигенции несовместимыми.

Сложившаяся ситуация предполагает господство в общественной сфере только таких действий, которые приносят действующему непосредственную выгоду в денежной (желательно в долларовой) форме. Фундаментальные и традиционные нормы интеллигентного поведения – подход к общественным проблемам на основе совести, к научным решениям на основе анализа и истины, к художественным явлениям на основе убеждения – оказываются подверженными в этих условиях искажающему, но и решающему влиянию выгоды и личной заинтересованности. Корчащемуся от боли человеку врач скорой помощи – т. е., казалось бы, интеллигент по определению – отказывается сделать обезболивающий укол, пока ему не опустили в карман халата конверт с тремястами рублями. Школьный учитель убеждает родителей ученика, что тот может справиться с программой, только пригласивши оплачиваемого репетитора, которым, разумеется, должен быть тот же учитель (или его родственник). В заповедниках интеллигенции – в институтах и университетах – распространенной давно стала, судя по сообщениям прессы, торговля конкурсными местами, а в некоторых – слава Богу, пока еще, кажется, в немногих – и торговля отметками. Опытный преподаватель уходит из школы или опытный исследователь – из НИИ, чтобы устроиться в фирму в поисках большей зарплаты, готовый на деквалификацию и на отказ от любимого дела.

Коррекция поведения по личной заинтересованности и выгоде не обязательно предполагает очевидные и наказуемые деяния – взятку, злоупотребление служебным положением – или даже просто нарушение приличий. С подобными деяниями такая коррекция чаще совмещается, входя в некоторую тональность существования, в систему подразумеваемых, но очень редко формулируемых норм: неприметный отказ от многолетних дружеских отношений, если они перестали быть полезными; учет при оценке заслуг того или иного человека его возможности оказаться в дальнейшем полезным оценивающему; сокращение видов деятельности, интеллигенту свойственных, если они перестали быть

рентабельными и т. д. Ситуация эта постепенно становится императивной. Как известно, если в систему входит чужеродное ей тело, она может сделать с ним только одно из трех: его уничтожить, выбросить его за свои пределы или к себе приспособить. При сохранении традиционных внешних черт интеллигентности возможность вернуть ей ее исконное субстанциальное содержание, отказавшись следовать указанным нормам, прогрессивно сокращается, стремясь к пределу.

Подчеркнем, что приведенные примеры и отразившиеся в них отношения не рассматриваются в этих заметках с точки зрения их экономической эффективности или их влияния на производительные силы общества, а исключительно с точки зрения их совместимости – точнее, несовместимости – с существованием интеллигенции. В советских условиях отклонение от норм, которыми она должна бы руководствоваться, на практике могло быть вынужденным и потому совместимым с внутренним их признанием, т. е. могло не порождать сомнений в валентности самого интеллигентского кодекса. В постсоветских условиях такое отклонение как бы свободно избирается и потому предполагает уверенность в его, этого отклонения, естественности и целесообразности, а значит, и в несущественности интеллигентского кодекса, в его устарелости, несоответствии духу времени и т. д.

Теперь – об утрате идентификации. Условием существования любой культурно-исторической целостности является идентификация: определенное количество людей осознает место, занимаемое в обществе тем слоем, к которому они принадлежат, видит его отличие от других слоев, отличие того кода, в котором данный слой себя выражает, от кода, в котором выражают себя другие, и обычно склонны воспринимать такую принадлежность и такой код как ценность. Существенным слагаемым переживания этой принадлежности как ценности является внешний облик самоидентифицирующегося слоя, начиная от одежды и вплоть до речевых и бытовых привычек. Русская интеллигенция отчетливо самоидентифицировалась до тех пор, пока самоидентифицировались две другие общественные силы, из контраста с которыми и из связи с которыми она возникла, – власть и народ. За последнее столетие с лишним все три проделали крутую эволюцию, но в любых метаморфозах каждая сохраняла в пусть предельно размытом виде свою социальную, хозяйственную, психологическую нишу, сохраняла тем самым свое отличие от двух других и, следовательно, существовала. Вплоть до первой половины 1990-х годов границы между ними, при всей расплывчатости и неустойчивости, ощущались каждым; с середины последнего десятилетия их расплывчатость и

неустойчивость стали очевидно преобладать над их былой – пусть относительной – четкостью. Социокультурно значимое отличие интеллигенции от обеих этих сил семиотически нейтрализуется.

Вряд ли есть необходимость повторять бесчисленные заявления, звучавшие во всяком случае до конца 1999 года, о предельном ослаблении государственной власти как отличительной черте российского общества девяностых годов. Вряд ли стоит также повторять не менее очевидные данные о резком сокращении той части населения, что занята в производительном труде, и резком росте той его части, что занята в сфере товарного обмена, услуг, денежного обращения и зарубежных связей. Народом в собственном, социокультурном и культурно-историческом смысле, является, как известно, именно первая часть: занятая повседневным трудом, она меньше других втянута в поверхностные и подвижные общественные контroversы и потому больше других сохраняет глубинные консервативные основы национально-исторического организма; общество живет в первую очередь за счет ее труда, и ощущение долга перед ней не может не играть (в истории интеллигенции в первую очередь) роль если не нравственной заповеди, то во всяком случае некоторого морального напоминания. Перевес в сторону второй из отмеченных частей активного населения означает – как он означал с незапамятных времен всегда и везде – ослабление собственно, в прямом смысле слова, народного компонента исторически сложившейся общественной структуры. Взаимодействие народа в этом его современном облике и интеллигенции происходит в форме нейтрализации их различий и все большей утраты идентификации обоих.

Что касается отношений интеллигенции со структурой власти, то решающее обстоятельство здесь состоит в следующем. Как мы убедились в предыдущих разделах, власть всегда ценила интеллигенцию за образованность, честность и преданность общественным интересам, и в то же время ей не доверяла, поскольку те же свойства делали интеллигента ненадежным винтиком государственной машины, внеположным инерции национально-государственного бытия. Интеллигент должен был быть ценим именно в той мере, в какой он мог быть власти полезным, но оставаться вне функционирующего аппарата власти. Отсюда и возникал давний афоризм, согласно которому власть в России всегда стремилась создать неинтеллигентную интеллигенцию. Сохранение этого положения достигалось в царской России за счет наследственных привилегий высшего чиновничества, в советской России – за счет анкетно-номенклатурного выдвижения правительственных кадров.

Расшатывание этого положения с конца 1980-х–начала 1990-х годов на первых порах привело к появлению многих интеллигентов на правительственных должностях, где они либо закреплялись, постепенно переставая быть интеллигентами, либо чаще всего не удерживались, более или менее возвращаясь в свою среду. Для судьбы сословия в целом и сохранения (вернее, несохранения) его идентификации, однако, более показательным и важным был некоторый третий путь, начавший приобретать все большее значение с середины 1990-х годов. Принадлежность к власти означала значительное повышение материального и престижного статуса, расставаться с которым лица, временно попавшие в это положение, или те, что включились в их культурно-интеллектуальное обслуживание, оказались в большинстве случаев неспособны. Положение это дано сегодня наблюдателю непосредственно, до теоретического анализа, проявляясь особенно отчетливо в тяготении к определенным формам жизни и привычкам, к усвоению нравов и самоощущения, интеллигенции ранее неизвестных и во всяком случае чуждых.

Правительственные учреждения в центре и в регионах и широкая периферия примыкающих к ним политологических, стратегических, аналитических групп и центров, редакций специализированных глянцевого журналов и т. д. отличаются особым, бросающимся в глаза стилем. Его образуют ждущие на улице возле служебных помещений частные автомобили, интерьеры с коврами и «евроокнами», повышенные гонорары и зарплаты, усиленная охрана, заполняющие коридоры прилавки и киоски с продовольственными и промышленными товарами повышенного качества и пониженной цены. За пределами самого узкого круга и самого высокого уровня такие учреждения существовали и раньше, но интеллигентов, во всяком случае в собственном прямом смысле слова, насколько можно судить, туда и на порог не пускали, да и редко, кажется, встречались те, что туда стремились. Ныне они широко привлекают авторитетных лиц, еще недавно входивших не только в ряды интеллигенции, но подчас и властителей ее дум – из тех, что подчас готовы были платить (и платили) за свою верность интеллигентскому кодексу лагерями и психушками и чье новое положение стимулирует готовность сначала откликнуться на появившиеся зовы, а затем и проявить энергию проникновения. Интеллигентская самоидентификация если и сохраняется, то на пути к тому состоянию, которое современные французские философы называют «симулякром». Оценочные суждения здесь вряд ли уместны, и уж во всяком случае не вызывают симпатии, – суждения гневно или презрительно разоблачительные, чаще всего исходящие

из той же среды. Лучше, наверное, если задача состоит в анализе и понимании некоторой культурно-исторической реальности, – просто постараться видеть то, на что смотришь.

Наконец, о такой конститутивной черте интеллигенции, как образованность, традиционно реализуемая в научной или преподавательской деятельности, и о приговоре, вынесенном историей над нынешним, итоговым, ее (интеллигенции) состоянием. Решающим элементом указанной деятельности, придающим ей этический смысл и делающим интеллигента интеллигентом, всегда являлся поиск и пропаганда доступной и доказуемой истины, ее аргументация и проверка. Исчезновение критерия истины, убеждения в ее существовании, в своей ответственности перед ней и в необходимости вести себя в науке в соответствии со своим пониманием ее исключает образованность из числа конститутивных этических признаков интеллигенции, ибо специальные познания сами по себе, как таковые, чувства общественной ответственности не предполагают.

Истину человек для себя открывает или, узнав ее от других, так же принимает ее как истину для себя, но при этом она остается истиной в той мере, в какой она не исчерпывается своей субъективностью, а представляет собой некое общее достояние, убеждение. Взаимосвязь и взаимоопосредованность субъективности и объективности, т. е. личности и целого, выступают здесь особенно очевидно и непреложно. Между тем исходная основа становящейся к концу века универсальной цивилизации постмодерна, а следовательно, и познавательной парадигмы, для постмодерна характерной, как раз и состоит в отрицании этой взаимосвязи и взаимоопосредованности, в результате чего сомнительным и прогрессивно исчезающим стало и само понятие истины. «Истина основывается на тех искусственно выстроенных аргументах, в которые поверил создатель аргументации, и живет за счет круговой поруки тех, кто согласился эту веру разделить», – говорится в одном из распространенных словарей-справочников по постмодернизму⁴².

До сих пор, в связи с испытанием долларом и самоидентификацией, мы оставались в собственно российской сфере; когда речь заходит об испытании обесценением научной истины, понятие происходящее с русской интеллигенцией можно только в связи с процессами общемировыми. Выделяются три аспекта проблемы – грантовое обеспечение научных исследований; этическое измерение научной деятельности; противоречивое единство познающего субъекта и познаваемого объекта как условие научной деятельности и основа культуры.

Замена, начиная с рубежа 1980-х и 1990-х годов, распределения бюджетных средств государства по отдельным научным ведомствам и учреждениям, характерного для советской системы, сохранение за ним вспомогательной роли и признание основным источником финансирования целевых грантов – отечественных и зарубежных, явились в принципе и в перспективе бесспорным благом. Достаточно напомнить хотя бы о грантах Фонда Сороса, без которых наука и просвещение в гуманитарной области в России если и существовали бы, то в несравненно более скромном виде; о тысячах карточек в каталожных ящиках библиотек, в которых описаны бесчисленные статьи и книги, выполненные по планам институтов и никому не нужные уже в момент опубликования (здесь и далее имеются в виду только публикации по гуманитарной тематике); о тысячах и тысячах талантливых научных работников, которые включились в работу исследовательских зарубежных учреждений и своей успешной деятельностью заполнили пробел между русской и мировой наукой, оставленный железным занавесом. Благие последствия новой системы были при этом неотделимы от ожесточенной борьбы за зарубежные гранты ради повышения собственного материального и престижного статуса и от усвоения стиля поведения, призванного обнаружить, привлечь и закрепить зарубежные контакты, для достижения этой цели необходимые. Процессы эти открывали перед выходцами из интеллигенции возможности реализации себя как научных специалистов, но оказывались в обоих только что названных случаях с традициями интеллигенции несовместимыми. Интеллигент должен был уступить место специалисту. Но процесс шел дальше и приобретал значение для обсуждаемой проблемы более глубокое.

Дело в том, что научная атмосфера в зарубежной науке – независимо от того, употреблять для ее характеристики слово «пост-модерн» или нет, – описывается сегодня некоторыми признаками, ранее для нее не очень характерными. В их число входит расхождение между, с одной стороны, работами в широком смысле слова собственно историческими, исследующими частные (при этом подчас весьма важные) явления культурно-исторической жизни, а с другой – работами культурно-философскими, описывающими в свете условий современной цивилизации общие принципы существования науки, редко погружаясь в конкретный исторический материал. Глубина этого расхождения была подчеркнута Мишелем Фуко еще в 1977 году, когда он счел актуальным вернуться к поставленному некогда Эдмундом Гуссерлем «вопросу между западным проектом универсального развертывания разума, пози-

тивностью наук и радикальностью философии»⁴³. Это расхождение всегда было малохарактерно для русской науки и в определенной мере остается малохарактерным для нее до сих пор, но обращение к зарубежным грантам и повышенная привлекательность последних создает определенный тип научного дискурса, призванного соответствовать тому только что описанному представлению об актуальных типах исследований, которые скорее, чем какой бы то ни было другой, заслуживали бы запрашиваемой поддержки. Нет, по-видимому, никаких оснований усматривать здесь какую-либо предвзятость со стороны лиц и учреждений, такие гранты распределяющие и выплачивающие. Вполне естественно, что люди хотят поддерживать те исследования, которые соответствуют их представлениям о научной и методологической актуальности. Как бы ни совмещались такая актуальность и современность с традициями русской науки, как бы ни ставили они ее перед выбором, ей не слишком привычным и приятным, с точки зрения темы настоящих заметок важнее обратить внимание на то, как откликнулось означенное расхождение в представлениях отечественного общественного мнения о роли и смысле русской интеллигенции.

Отклик оказался совершенно неожиданным. Существует ряд публикаций – и в последнее время число их растет, – объединенных одной мыслью: «третье», по нашему счету, свойство интеллигенции – ее эрудиция, участие в академической деятельности – противостоит остальным. Противостояние основано на том, что три остальных свойства – переживание проблем жизни общества и его состояния; личный, экзистенциальный характер такого переживания; открытость западноевропейскому опыту демократического развития – рассматриваются как форма общественно-политической ангажированности и тем самым как форма нравственного бытия и нравственного потенциала, нравственной ответственности, которым изначально призвана соответствовать интеллигенция, и в том числе, если не в первую очередь, занятая в научных исследованиях и в университетском образовании. Эрудиция же и специализированная научно-исследовательская работа в любой ее форме, сосредоточенная на собственно историческом или философском анализе конкретных проблем с опорой на материал и на наличные разработки, с исчерпывающим аппаратом, рассматриваются как деятельность внеидеологическая, значит – посторонняя нравственной проблематике, а следовательно, как уклонение от нравственного долга интеллигенции. Тем самым этот род деятельности становился при таком подходе приемлемым для власти на протяжении минувших десятилетий, но в какой-

то мере должен быть признан таковым и сегодня. Предполагается, что профессиональная специализация избавляет интеллигенцию от столкновения с властью, которая, как бы в обмен, обеспечивает ей (и тем более обеспечивала в прошлом) доход, комфорт и общее конформное соответствие. Профессиональная научная деятельность выступает как форма измены самому принципу и понятию интеллигенции.

Исходная публикация этого направления – многократно перепечатанная и широко известная «Образованщина» Солженицына. Из материалов последнего времени показательна статья двух авторов – Хапаевой и Колосова в НЗ⁴⁴, среди иностранных публикаций – введение к книге голландского исследователя М.Веса, посвященной античному наследию в культуре России XVIII–первой половины XIX века⁴⁵. В особой форме и как бы с обратным знаком – статья Глеба Павловского «“Век XX и мир”: урановый могильник российской интеллигенции»⁴⁶.

Эти две парадигмы – обособление философски обобщающей трактовки культурно-исторического процесса и тщательное исследование его частностей, с одной стороны, и отрицание нравственного смысла профессиональной научной деятельности, с другой, образуют единую характеристику той цивилизации, на которую приходится заключительная фаза в жизни русской интеллигенции, – характеристику, которая еще раз подтверждает несовместимость этой «прослойки» и этой цивилизации.

Научно-исследовательская деятельность, направленная на выяснение объективной, частной и доказуемой истины, лежит в другой плоскости, нежели политическая ангажированность, направленная на достижение определенных социальных целей. В практическом жизненном поведении тех или иных ученых они могут сочетаться или не сочетаться произвольно и объясняться частными жизненными обстоятельствами. Но в недрах общественного организма они для духовно развитой личности вообще и для русского интеллигента в первую очередь оказываются нерасторжимо связанными, ибо производны от постоянно, остро и субъективно переживаемых им глубинных проблем общественного развития и, в частности, той из них, которая в данный период играет определяющую роль. Такое переживание окрашивает как взгляд *человека*, направленный на общественно-историческую реальность, так и взгляд *ученого*, направленный на проникновение в ее внутреннюю структуру и обусловленный той же реальностью.

Так, развитие исторической науки происходит главным образом не за счет появления новых источников, а за счет обновления объективной реальности и смены взглядов на нее – обусловленной тем же обновлением.

Моммзен пережил как человек вековую проблему культурно-исторического объединения Германии, своей родины, что и направило его взгляд на преимущества и недостатки государственной централизации сравнительно с местной патриархальностью. Его «Римская история» и главный ее герой, Цезарь, выросли именно отсюда, но дело, как известно, до самого Цезаря не дошло, поскольку вовлеченным в решение проблемы оказался весь бесконечный материал римской истории, потребовавший доскональной, виртуозно академической проработки. Тут не было никакой модернизации, было единство духовной личности и единство той картины мира, через которую эта личность себя реализует и через которую воспринимает реальность и себя в ней. Примеры такого рода бесконечны, ибо коренятся в природе науки. Ростовцев не только жил на фоне обострившегося конфликта классического капитализма и общественных форм, претендовавших на то, чтобы его сменить, но и пережил как факт личной биографии грандиозные события, с этим содержанием эпохи связанные. Соответственно в картине греко-римского мира, им развернутой, при всей ее погруженности в историческую фактуру, он сумел обнаружить процессы, которые его предшественникам вняты не были. Лотман жил в советские шестидесятые годы как в своей – целостно, лично, общественно, научно – переживаемой атмосфере и был погружен в разработку семиотики текста, т. е. такого механизма, который позволял истолковать культурно-историческое содержание литературного памятника изнутри, из самой его структуры, и обнаружить чисто научную (но и моральную) недопустимость идеологических мифов, вторгавшихся в текст и навязывавших ему извне свои оценки и рецепты.

Диалектика переживаемой истории и научной ее трактовки заложена в самом бытии ученого-интеллекта, с равным акцентом на обоих словах. Разделение политической ангажированности и академического «профессионализма» есть оборотная сторона их внешнего смещения – дань цивилизации постмодерна, где личная убежденность и общественная ответственность, ответственность перед объективной истиной и субъективно пережитой ценностью, где «Я» и Целое сосуществуют, не проникая друг в друга. Можно гадать, хороша эта цивилизация или нет, гуманна или напротив того, открыта она в будущее или исчерпывает себя на наших глазах. Но вряд ли можно сомневаться, что русская интеллигенция, какой мы ее знали на протяжении полутора столетий, с этой цивилизацией несовместима и представляет собой перевернутую страницу истории.

Примечания

- ¹¹ Используется текст, опубликованный в книге: *Клибанов А.И.* Духовная культура средневековой Руси. М.: АО Аспент Пресс, 1994. С. 141 и сл.
- ¹² *Булакин Д.М.* Переводы и послания Максима Грека. Л., 1984. С. 8.
- ¹³ Послание монаха псковского Елеазарова монастыря Филофея / Идея Рима в Москве XV–XVI века. Источники по истории русской общественной мысли. Рим, 1989. С. 140.
- ¹⁴ Цит. по: *Скрынников Р.Г.* Государство и церковь на Руси XIV – XVI веков. Подвижники русской церкви. Новосибирск: Наука, 1991. С. 141.
- ¹⁵ Там же. С. 199.
- ¹⁶ Аввакум. Житие / Пустозерская проза. Протопоп Аввакум, инок Епифаний, поп Лазарь, дьякон Федор. М.: Московский рабочий, 1989. С. 38.
- ¹⁷ *Пушкин А.С.* Полное собр. соч. Т. XI. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1937. С. 14.
- ¹⁸ *Эйдельман Н.Я.* Грань веков. М.: Мысль, 1982. С. 21.
- ¹⁹ Формирование и утверждение этого слова-понятия детально прослежено в статье: *Катаев В.Б.* Боборыкин и Чехов (к истории понятия «интеллигенция» в русской литературе) / Русская интеллигенция. История и судьба. М.: Наука, 1999.
- ¹⁰ Из неопубликованного при жизни автора предисловия к роману «Обрыв» (*Гончаров И.А.* Собр. соч. в 8 томах. Т. 8. М., 1965. С. 150–151).
- ¹¹ Русская мысль. 1904. № 12. С. 88 (второй пагинации). Цит. по упомянутой статье В.Б. Катаева (С. 389).
- ¹² Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. 2-е изд. М., 1909 (репринт 1990). С. 68.
- ¹³ *Булгаков М.А.* Письмо от 28 марта 1930 года. Рукопись: ГБЛ, Ф. 562, 19.30. Цит. по: *Чудакова М.О.* Гоголь и Булгаков / Гоголь: история и современность (к 175-летию со дня рождения). М., 1985. С. 361.
- ¹⁴ *Булгаков С.Н.* Героизм и подвижничество / Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. 2-е изд. М., 1909 (репринт 1990). С. 64.
- ¹⁵ *Бунин И.А.* Миссия русской эмиграции (1924) / Иван Бунин. Великий дурман. Неизвестные страницы. М.: Изд-во «Совершенно секретно», 1997. С. 130.
- ¹⁶ *Ленин В.И.* Полное собр. соч. (5-е изд.). Т. 41. М., 1963. С. 64–65.
- ¹⁷ Примеры см. в примечаниях к цитированной выше статье В.Б. Катаева (С. 396).
- ¹⁸ *Ленин В.И.* Доклад на Втором всероссийском съезде профессиональных союзов 20 января 1919 г. / Полное собр. соч. (5-е изд.). Т. 37, М., 1963. С. 449.
- ¹⁹ «Брут, или О знаменитых ораторах», 186.

- ²⁰ «Письма к близким», VII, 1.
- ²¹ Кочетов А., Рысс Ц. Жилье / Большая Советская энциклопедия. 1-е изд. Т. 25. М., 1932. С. 447.
- ²² Декоративное искусство СССР. 1987. № 7. С. 31.
- ²³ См. цитированную выше статью А.Кочетова и Ц. Рысса.
- ²⁴ Утехин И. Очерки коммунального быта. М., 2001. С. 12–14, 65–72, 134, 143 и др.
- ²⁵ Домогацкий В. Кладовка / Новый мир. 1992. № 3.
- ²⁶ Ильина Н. Дороги / Октябрь. 1982. № 4.
- ²⁷ Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988. С. 165 и сл.
- ²⁸ Ямпольский Б. Московская улица / Знамя. 1988. № 4; есть позднейшие книжные публикации.
- ²⁹ Ржевская Е. Ближние подступы. М., 1985. С. 107.
- ³⁰ Гнедин Е. Выход из лабиринта / Евгений Александрович Гнедин и о нем. Мемуары, дневники, письма. М.: «Мемориал», 1994. С. 81–82.
- ³¹ В 1924 году это констатировал никто иной, как Иван Алексеевич Бунин: «Как ни безумна была революция во время великой войны, огромное число будущих белых ратников и эмигрантов приняло ее» (*Иван Бунин. Великий дурман. Неизвестные страницы*. М.: Изд-во «Совершенно секретно», 1997. С. 130).
- ³² Среди произведений писателей, переживших этот опыт в России, но описавших его уже из эмиграции, примерами могут служить упоминавшийся выше роман Михаила Осоргина «Сивцев Вражек» или повесть Бориса Зайцева «Улица Святого Николая», среди произведений писателей, переживших его в России и в России же его и описавших, – роман С.С.Заяцкого «Жизнеописание Степана Александровича Лососинова» (М.; Л., 1928).
- ³³ Позиция их яснее всего документирована сборниками «Скифы», появившимися в конце 1917–начале 1918 года. Редакторы – Иванов-Разумник, Андрей Белый и один из лидеров левых эсеров, в ту пору член президиума ВЦИК С.Мстиславский. Группировались вокруг «Скифов» Блок, Есенин, Клюев, Ремизов, Замятин, Эрберг, а также люди, впоследствии так или иначе соотнесенные с официальной советской культурной элитой – Мстиславский, Чапыгин, Ольга Форш, Евгений Лундберг.
- ³⁴ Обзор и анализ материалов, сюда относящихся, см. в книге: *Агурский М. Идеология национал-большевизма*. Paris: YMCA-Press, 1980.
- ³⁵ См.: *Крыленко Н.В. Судебные речи*. Избранное. М: Изд-во юридической литературы, 1964.
- ³⁶ Из публикаций последнего времени информативнее других воспоминания М.Кагана «О времени и о себе» (1998) и статья К.Азадовского и Б.Гаспарова в «Новом Литературном Обозрении» № 43 (2001).

- ³⁷ Дворжецкий В. Пути больших этапов / Театр Гулага. Воспоминания. Очерки. М.: «Мемориал», 1995. С. 30–31.
- ³⁸ Там же. С. 40.
- ³⁹ Там же. С. 44.
- ⁴⁰ Из документального интервью московского художника-маргинала в дипломном фильме студентки ВГИК Н.Хворовой «Тетива» (1983).
- ⁴¹ Из стихотворения Булата Окуджавы «По прихоти судьбы – разносчицы даров...» (1982).
- ⁴² Beard H., *Cerf Ch.* The Official Politically Correct Dictionary and Handbook. New York, 1992.
- ⁴³ Фуко М. Жизнь: опыт и наука / Вопросы философии. 1993. № 5. С. 46.
- ⁴⁴ Неприкосновенный запас. 2000. № 1 (9).
- ⁴⁵ *Wes M.A.* Classics in Russia 1700–1855. Between Two Bronze Horsemen. Leiden; New York; Köln, 1992. P. 1–8.
- ⁴⁶ www.russ.ru. Русский журнал. Page 1 of 1. Дата публикации: 17 января 2001 года.

Научное издание
Георгий Степанович Кнабе
Перевернутая страница

Редактор серии Е.П.Шумилова
Верстка О.Б.Малаховой

Оригинал-макет подготовлен
в Институте высших гуманитарных исследований РГГУ

ИД № 05992 от 05.10.2001
Подписано в печать 6.03.2002.
Формат 60x84/16. Уч.-изд. л. 3,5. Тираж 500 экз.
Заказ № 60